
ДБ-40
К-11
Каторга...

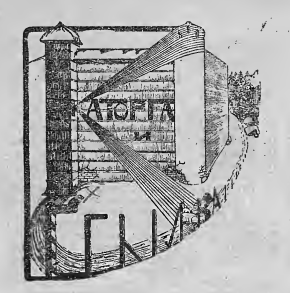


КАТОРГА И ССЫЛКА

ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИ

ИЗДАНИЕ КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО О-ВА БЫВ. ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ.
1924

[323.2(09)(08)(47)]



К ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ::: ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ :::

СБОРНИК РЕДАКТИРОВАЛИ:

Л. БЕРМАН,
Б. ЛАГУНОВ,
С. УШЕРОВИЧ.

ИЗДАНИЕ
КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО О-ВА
БЫВ. ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО - ПОСЕЛЕНЦЕВ.
1924.

СОДЕРЖАНИЕ:

В сборнике помещены портреты: М. Ю. Ашенбреннера, П. Хазанова, Шерешевской Вайсбрейм, А. П. Павлова, С. Файнберга. **Народовольцы:** К. Яковский, Н. Григорьева, В. Сухомлин, А. Магат и Л. Берман. **Снимки:** Киевской кареты смертников, уголок каторги и ссылки на выставке Испарта, Киевский Совет Об-ва б. политкаторжан, группа ссыльных Манзурской и Баяндаевской ссылки, группа политкаторжан по пути в централы, одна из камер Александровской центральной каторжной тюрьмы.

Замеченные опечатки и ошибки.

Страница	Строка		Напечатано	Следует читать
3	1 и 2	снизу	преимущественно, обыкновенно, наше революционное движение.	преимущественное наше внимание обыкновенно привлекают люди выдающиеся. Оно и понятно.
7	19	сверху	трактату	тракту
7	4 в при	мечании	другом	других
8	5	снизу	оттеснял	оттенял
11	5	снизу	его	ее
16	3	сверху	удалился	удалилась
18	4	снизу	задерживалась	задержалась
19	9—10	сверху	большие	больничные
20	3	сверху	говорил	говорит
35	5	снизу	осталась и здесь	осталась и днесь
36	6	снизу	волнукша	волнушка
40	11	сверху	откуда	оттуда
49	12	сверху	напечатанное в	строке не читать
61	7	снизу	выросли	вырастем
61	7	снизу	выручили	выручим
80	6	сверху	маркстиствующий	марксиствующий
86	12	сверху	фамилии	Фамилии
86	17	сверху	каторжанами, будучи	каторжанами. Будучи
86	18	сверху	каторжанин. Он	каторжанин, он
87	8	сверху	подымались в этом	подымались и в этом
87	14	снизу	бодрствуя	бодрствуешь
96	3	сверху	буду	должен буду
104	22—23	сверху	толстовцев	толстовца
124	3 втор.	столб. сн.	оно	она
125	23	сверху	Народовольцев. 24 28	народовольцев 24—28
125	24	сверху	приговорен	Приговорен
126	8	снизу	общему собранию	участникам общего собрания
126	7—6	снизу	воспоминания о революционной деятельности	биографии
95	под снимком В. И.	Сухомлина	в 1884 г.	в 1887 г.

Вместо предисловия.

Коротка была деятельность и сама жизнь революционера на свободе, но долог и тернист был его путь по тюрьмам, ссылке и каторге. Производя беспрерывные аресты, русское правительство в годы царского режима чувствовало и понимало, что его победа над своими врагами-революционерами будет лишь тогда полна, когда ему удастся уничтожить самый дух революционный.

Искореняя его всевозможными мерами в российских гражданах, не щадя для этого никаких усилий, никаких средств, оно тем более не могло не пытаться искоренить его в тех революционерах, кого ему удавалось изловить и посадить под тюремный замок. Отсюда целый ряд крупных и мелких мероприятий, имевших единственной целью унизить морально своих пленных врагов.

Большим героизмом, большой духовной и нравственной силой должен был обладать революционер, чтобы за тюремными стенами, в глухой Сибири, в казематах Петропавловской, Шлиссельбургской крепостей вести в продолжение многих лет борьбу за свое достоинство человека и революционера.

Страдания и гибель мучеников за идею, за свободу и идеалы трудящихся, оказывали не малое агитационное влияние на все русское общество, откуда и выходили все новые и новые борцы за революцию.

Особое значение приобрели тюрьма и каторга с 1905 г. После японской войны революционное движение охватило широкие народные массы. В тюрьмы и на каторгу попадали сотни и тысячи людей, всей своей предыдущей жизнью не подготовленных нести то бремя, которое им выпало на долю. Для них каторга и ссылка стали школой, правда, мучительной школой, где они получали от своих товарищей не только знания, но и впитывали от них более сознательное стремление к революционной борьбе.

Но если материалы из жизни политических в ссылке, в тюрьмах и на каторге в дни царского режима будут иметь большое занчение для истории революционного движения в России; если это должно побуждать нас собирать, обнародовать и хранить имеющие общественное значение документы,—то с особенным вниманием мы должны относиться к памяти погибших. Этого, наконец, требует наш товарищеский долг. Преимущественно, обыкновенно, наше революционное движение. Но мы обязаны хранить память и о рядовых,

так сказать, революционерах. Ведь они-то и составляли революционное движение. Совершая свою скромную на первый взгляд работу, они-то в общем и подготовляли торжество революции.

Еще одно необходимо иметь в виду.

В условиях подпольной работы часто, слишком даже часто, люди арестовывались в самом начале своей революционной деятельности, и потом гибли, так и не успев развернуть своих духовных сил.

Выпуская сборник «Каторга и ссылка», делая свой первый опыт, Совет Киевского Отделения Общества бывших политических каторжан и ссыльных стремится осуществить одну из главных задач Общества.

Наши товарищи, конечно, сами сознают всю важность собирания материалов для истории революционного движения. Они отлично знают, что многое, имеющее серьезное историческое значение, хранится только в их собственной памяти, и потому они, нужно надеяться, стряхнуть свою инертность, будут писать и давать материал для дальнейших выпусков.

Л. БЕРМАН.



Поездка в горный Зерентуй.

I. Смерть Сазонова.

Весть о смерти Сазонова застала нас в Одесской тюрьме, где мы ожидали—после приговора—отправки в Сибирь на поселение. Смерть Сазонова глубоко потрясла всех, кто с ненавистью и тоской смотрел на происходившее вокруг насилие. Как же переживалась она нами! Насилию мы, пленники, не могли противопоставить ничего действенного, в чем нашло бы себе исход наше взволнованное чувство. Только в ссылке в дошедшем до нас номере «Знамени Труда», мы прочли подробности Зерентуйской трагедии *), прочли и это—предсмертное—письмо Егора Сазонова:

«Товарищи! Сегодня ночью я попробую покончить с собой. Если чья смерть и может приостановить дальнейшие жертвы, то, прежде всего, моя. А потому я *должен* умереть. Чувствую это всем сердцем; так больно, что я не успел предупредить смерть двух умерших сегодня. Прошу и умоляю товарищей не подражать мне, не искать слишком быстрой смерти! Если бы не маленькая надежда, что *моя* смерть может уменьшить цену, требуемую Молохом, то я непременно остался бы ждать и бороться с вами, товарищи! Но ожидать лишний день—это значит, может быть, увидеть новые жертвы. Сердечный привет, друзья, и спокойной ночи!»

И мы вторично переживали роковую весть.

Временно расселенные по волостям Верхоленского уезда,—ближайшего к Иркутскому, мы—большинство из нас—весною, по вскрытии Лены, должны были присоединиться к партиям ссыльно-поселенцев, отправляющихся по воде, на «паузках», в волости Киренского уезда. Вследствие разных обстоятельств я был отправлен отдельным этапом в лодке со сменным от станка до станка ямщиком-провожатым. Это было в июне. Не помню, две или три недели плыли мы по великой сибирской реке, вдоль высоких зеленых, покрытых тайгою, ее берегов, иногда отступавших, иногда обнажавшихся, чтобы показать свои причудливой формы гранитные очертания. Хоть и было лето, а с севера тянул

*) „Знамя Труда“ № 33, янв. 1911 г. О Зерентуйской трагедии можно прочесть также в № 3 „Каторги и ссылки“ изд. Московского Общества бывших политических каторжан и ссыльно-поселенцев.

холодный ветерок—дыханье далекого ледовитого моря, дыханье покоя, вечного сна... холодного сна, которым спал и свершивший свое дело товарищ, чей прощальный привет мы недавно со скорбью читали.

II. Встреча и планы.

Едва коснувшись земли, обетованной мне власть предержащими на Средней Тунгузке, я повернул вспять. Где-то вблизи Киренска я встретился с товарищем Бердиевым, осетином по происхождению, с.-р-ом, ссыльно-поселенцем, моим будущим, если позволительно употребить здесь это слово, «импрессарио». Мы вместе продолжали обратный путь. Бердиева занимала мысль о необходимости систематического террора в применении к тюремщикам тогдашней политической каторги. Мы прибыли в Жигалово, начальный пункт моего путешествия в лодке на север, и снова встретились там с оставшимися в Верхоленской ссылке товарищами. В небольшой группе из четырех или пяти человек мы обсуждали мысль Бердиева, которая была и нашей мыслью. Бердиев имел в виду привлечь еще кое-кого из известных ему ссыльно-поселенцев и имевших в скорости выйти на поселение каторжан. Первым делом намечавшейся организации—Сибирского боевого летучего отряда П. С.-Р.—должно было быть, конечно, покушение на жизнь начальника Зерентуйской тюрьмы Высоцкого, виновника смерти, точнее — прямого убийцы Сазонова. Я предложил товарищам поручить мне исполнение задуманного покушения. Однако, на первых порах моя кандидатура была принята лишь, как запасная. У Бердиева был уже кто-то в виду, кого он считал более подходящим для этого трудного по обстановке дела. Я и Бердиев продолжали свой путь в Иркутск. Теперь мы ехали порознь, условившись встретиться на одной из ближайших к Иркутску станций Сибирской железной дороги. Так и случилось, и мы вместе явились в Иркутск. Бердиев устроил меня на квартире, где я, бежавший из ссылки, мог некотрое время спокойно и безопасно прожить, а сам уехал выяснять положение дел. Он скоро возвратился с сообщением, что, так и оставшийся мне неизвестным, товарищ, на которого он расчитывал, повидимому, не сможет принять ожидавшееся от него участие в деле, и мы вместе решили, что я буду его заместителем. И Бердиев опять уехал—уже на более продолжительное время—выяснить, как он говорил мне, подробно условия и обстановку, при которых мне придется встретиться с Высоцким. Пред своим от'ездом он познакомил меня с т. Гинтовтом, весьма симпатичным молодым человеком, с.-ром, иркутянином, происходившим, если не ошибаюсь, из революционной семьи. Последний должен был снабдить меня всем необходимым.

III. В Иркутске.

Пребывание в Иркутске, в ожидании возвращения Бердиева,—а он отсутствовал около десяти—четырнадцати дней,—было самым тягостным временем моей жизни. Вполне сознательно идя на дело, последствием которого для меня должна была быть, почти неизбежная, смерть,—я отнюдь не легко расставался с жизнью. Состояние бездеятельности и одиночества благоприятствовало депрессивным настроениям. Решения, покоившиеся на столь прочном, казалось, основании — долговременных и сильных переживаниях мысли и чувства, вдруг потускнели в своем внутреннем содержании. Значит, я не тот, кем себя считал... Эта мысль тяжелым испытанием ложилась на душу. Под конец этой борьбы моих «я» на душе, кроме чувства бесконечной усталости и желания покоя, ничего не оставалось. Но и сгибаясь, падая под их тяжестью, я все же знал, что решения остаются действенной, пусть сейчас внешней, силой души...

Приехал Бердиев, я ожил—все прошло. Вот что рассказал мне Бердиев: департамент полиции недавно сообщил местным жандармским властям, что, по имеющимся у него сведениям, на Высоцкого готовится покушение, которое должно будет произойти в августе месяце, и предложил им принять соответствующие к предупреждению преступления меры *). В виду этого предупреждения было приказано у всех проезжающих по нерчинскому трактату и останавливающихся по пути на земских квартирах проверять паспорта и устанавливать, куда именно и за какой надобностью они едут. В самом же Горном Зерентуе жандарм, прикомандированный к тюрьме, получил инструкции ежевечерно заходить на земскую квартиру и справляться о всех прибывших. Самому Высоцкому было предложено в тюремной конторе по возможности не появляться, и он сидит у себя на квартире, почти не выходя, никого из посторонних не принимает, а если и выпадает такой случай, что нужно принять, то на приеме присутствует старший тюремный надзиратель Казанцев, его правая рука по тюремным делам, с заряженным револьвером в руке.

— Таким образом,—закончил Бердиев,—будет большой удачей только добраться до Высоцкого. И, быть может, вам и стрелять не придется, так как Казанцев выстрелит в вас раньше.

*) Вряд ли в этом предупреждении имелся в виду проект именно моего покушения. По ограниченности круга лиц, которые знали об этом проекте, и за скромность каждого из которых я бы поручился, о нем департаменту полиции, почти категорически можно сказать, не могло быть известно. Вероятно, речь шла о другом, несколько раньше задуманных и не осуществившихся планах. Об одном, более известном Бердиеву, я сказал выше, о другом я также слыхал—он принадлежал товарищу (фамилии не помню), освободившемуся из той же Нерчинской каторги незадолго до смерти Сазонова, после уехавшему в Швейцарию с намерением подготовить там все необходимое, и утонувшему там, купаясь, в реке.

Он добавил еще, что информировавшие его советовали торопиться, так как с одной стороны носились слухи, что вообще Высоцкий уходит в отставку, с другой—можно было ожидать усиления строгостей по охране Высоцкого, и, таким образом, каждый день промедления уменьшал шансы на успех задуманного дела.

Из предложенного мне на выбор оружия—«браунингов» большого и малого—я выбрал малый: он не так заметно выделялся в кармане и мог быть менее заметно и быстрее извлечен оттуда. Мне дали также (в пакетике) цианистого калия, чтобы отравить пули. Для меня был приготовлен еще раньше паспорт—настоящий, некоего Тумашева (имя и отчество забыл. Его, беднягу, потом арестовали и продержали несколько дней. Оказался он спившимся чиновником, и продал—неизвестно кому—свой паспорт в острый момент непреодолимого желания вкусить живительной влаги. К нам этот паспорт попал, вероятно, через несколько рук). Одеяние, в котором я должен был явиться к Высоцкому, составляли: светло-серый смокинг Гинтовта, в виду его высокого роста, переделанный портным на меня; синяя накидка морского образца со «львами»—застежками; фуражка с инженерским значком, и часы с золоченой цепочкой. Все это (кроме часов) я уложил в дорожный чемодан. Я заказал визитные карточки: имя, отчество рек Тумашев, инженер-механик. На дорогу я получил сто рублей. Закончив свои последние письма и снявшись, как того требовала традиция, у фотографа, я, на третий день после возвращения Бердиева, простившись с ним и с Гинтовтом, под вечер выехал к поезду.

Затруднителен был еще для нас вопрос о предлоге, под каким мне явиться к Высоцкому и занять его разговором. Предложенное Бердиевым и Гинтовтом—явиться в качестве агента какой-то где-то устраиваемой промышленной выставки и просить экспонатов, меня мало удовлетворяло. Но не сумев тогда найти ничего лучшего, я решил, что будет достаточно времени у меня в пути, чтобы подумать об этом.

IV. В дороге.

Стемнело, когда поезд достиг Байкала. Волнующая бездеятельность ожидания и суета последних приготовлений были позади. Я отдыхал, отдаваясь движению. Поезд медленно шел скалистым берегом озера, и его ритмический шум оттеснял молчание ночи, угрюмо-диким пейзажем смотревшей в окна вагона. Эту ночь и, помнится, весь следующий день, проходя туннели и петли, мы подымались все выше и выше. Ночью прошли мы знаменитый туннель на водоразделе двух океанов и спустились к Чите. И, наконец, на третьи, кажется, сутки, достигли Сретенска. Здесь кончался мой путь по же-

лезной дороге и начиналась дорога по 300—350-верстному тракту на Нерчинский завод. Чем ближе становился конечный пункт моего путешествия, тем сильнее становилась моя новая тревога: удастся-ли?

Переправившись в Сретенск на пароме—станция железной дороги стоит на противоположном берегу многоводной и быстрой реки Шилки,—я остановился в гостинице и отправился на почтовую станцию договориться о лошадях на завтра. В Сретенске я купил последнюю нужную мне вещь: пол десятка сигар и кожанный портсигар для них. Вечером этого дня в номере гостиницы, перед зеркалом, я попробовал произвести репетицию свидания с Высоцким, как я себе это представлял. Но нервы не слушались и не позволили мне довести опыт спокойно до конца. Это нервное состояние еще усилилось, когда я принялся за подготовительную операцию отравления первой пули. И я мог проделать эту операцию только над ней одной. Впрочем, думал я, если вообще дело дойдет до стрельбы, вряд-ли удастся сделать более одного выстрела, а первый, неожиданный, и будет самым верным—стрелять придется на близком расстоянии.

На утро я выехал из Сретенска. Дорога, почтовый тракт, от станка до станка идет, все время подымаясь, спускаясь, извиваясь по сопкам. Светло-голубое августовское небо, серо-зеленое море, застывшее в волнах-холмах, уходящих рядами вдаль к горизонту... Ложился покоем на душу мягкий пейзаж. Пред моим приездом в Сретенск на тракту случилось нападение на почту, везшую золото с приисков. Был убит почтальон. Не везде на почтовых станциях (на земские квартиры я не заезжал) удавалось сразу получить лошадей—лошади сплошь и рядом все были в расходе. На одном из станков смотритель огорчил меня перспективой чуть-ли не суточного ожидания. Пока он об'яснял мне, почему нет лошадей, вошли два почтальона.

— Спросите у них, быть может, они возмут вас с собою.

— Взять-то можно, да на чем вы сядете, у нас ведь...

Чтобы не потерять времени, я готов был сидеть на чем угодно. И проехал верст тридцать, сидя на гробе, который почтальоны везли из Сретенска для своего убитого товарища.

17-го августа я приехал на Нерчинский завод. От него до Горного Зерентуя оставался один небольшой перегон в пятнадцать верст, если не ошибаюсь. Из Нерчинского завода в Горный Зерентуй я выехал вечером. Чтобы поменьше обратить на себя внимания, было лучше проехать тюрьму и село в темноте...

Был десятый час. Все уже спало. Светила луна. По левую нашу руку, на пригорке, за оградой белела тюрьма своими стенами. Направо, почти напротив тюрьмы, прерывая забор, стоял невысокий дом, очевидно, контора. Мы

спустились в село. На этот раз, на конечном пункте моего путешествия, я решил остановиться на земской квартире. Жандарм уж, наверно, был там и раньше завтрашнего дня меня не побезпокоит. С другой стороны, отдельную комнату, необходимую мне на ночь, я мог скорее получить на земской квартире, обычно пустой, чем на почтовой станции с ее ожидающим лошадей проезжим людом.

V. В Горном Зерентуе.

Старуха-хозяйка приняла меня приветливо и, пока я закусывал и пил чай, занимала меня беседой. Покончив с ужином, я отправился в отведенную мне комнату, куда были внесены и мои вещи. Я разложил все необходимое мне на завтра, закончил пресловутое отравление первой пули (неудовлетворительная упаковка, в которой я получил легко теряющий свои свойства яд, неизвестно, сколько времени в ней находившийся, не позволяла с уверенностью рассчитывать на его действие) и, утомленный, разделся и лег. Я спал, хотя и плохо: мысль, сосредоточившаяся на разработке деталей предстоявшего к выполнению плана, продолжала работать и во сне.

Утром 18-го августа 1911 г. я отправился в контору тюрьмы. Высоцкого там не оказалось. Тюремный чиновник, привставший, когда я вошел в своей накидке со «львами» и форменной фуражкой, сказал мне, что «они бывают в неопределеное время, а теперь больны, и находятся дома». Я был огорчен, что я все еще не у цели. Приходилось итти к нему на квартиру. Дети открыли мне запертую калитку, я поднялся на крыльцо, прошел в корридор-сени и позвонил у входной двери. Сразу меня не впустили и даже не решились открыть дверь, чтобы принять мою визитную карточку. Дверь, наконец, приоткрылась, я просунул карточку, и женщина,—это его жена, подумал я,—взяв карточку, заперла дверь. Я ждал и начинал уже терять надежду добиться свидания с Высоцким, как дверь опять открылась, меня впустили и провели в кабинет. Минуты две спустя, вошел старший надзиратель Казанцев, сказал: «сейчас выйдут», стал у двери в переднюю и, вытащив браунинг, щелкнул, вдвигая патрон в ствол. Еще две длинных минуты я расхаживал по маленькому кабинету, и в дверях из гостинной в переднюю появился Высоцкий, невысокого роста, с военной выправкой, с седыми висками, тип капитана в отставке. Он, видимо, не решался перейти переднюю, чтобы войти в кабинет, в дверях которого стоял я. Момент взаимного смущения. Я сделал шаг вперед и подал ему руку. «Чем могу служить?» Вопрос сопровождался, как мне показалось, язвительной улыбкой. Все еще с некоторым смущением я стал об'яснять дело, которое меня привело к нему. Тем временем мы вошли в кабинет. Мое смущ-

щение он отнес, повидимому, к своей неловкости и, наконец, предложил сесть, сел и сам, а я тем временем овладел собою. Я рассказал ему, что я представитель нового общества, которое проиобрело вблизи Нерчинского завода участки под шахты, и что желаю узнать, не может-ли он предоставить в наше распоряжение, в качестве рабочих, арестантов. Он отвечал отказом, об'яснив, что у него нет свободных для отпуска арестантов, да такой отпуск и дело не его, а начальника каторги, к которому и рекомендовал обратиться. Относясь с недоверием ко мне, он, видимо, был на стороже. Продолжая разговор, я вытащил из левого кармана пиджака портсигар и протянул ему, предлагая сигару, он отказался (впоследствии, на допросе, следователь спрашивал, не были-ли отравлены сигары). Тогда я взял сигару, вытащил из жилета ножичек, обрезал ее, поискал глазами на столе, нет-ли спичек, похлопал по карманам, как бы нащупывая их — они оказались в правом кармане брюк, полез за ними и вытащил — пистолет. Я увидел перед собою побелевшее лицо, он приподнялся, я выстрелил два раза подряд. Во время второго выстрела он уже двинулся и, прижав руку к груди, с криком «убил» выбежал из кабинета. Я положил пистолет на стол и остался сидеть в ожидании дальнейшего. Я был бесконечно утомлен. Я не заметил, как телохранитель Высоцкого очутился передо мною. Испуг Высоцкого был ничто перед тем испугом, какой выражали его фигура и черты лица. Он был бледен до зелени, трясся, как в ознобе, тряслась и его рука, направлявшая на меня его браунинг. Он мог выстрелить в меня совершенно нечаянно. Во мне проснулось чувство самосохранения. Чтобы он не боялся, я указал ему,, что при мне оружия нет, что оно лежит на столе. Он немного успокоился. Вошла испуганная жена Высоцкого, ломая руки. «за что?» Я ответил: «за Сазонова».—«За Сазонова!»—и она всплеснула руками. Ушла. Тем временем Высоцкий успел вызвать тревогу. Прибежали надзиратели и солдаты. Больше рьяно, чем тщательно обыскали меня, теребя во все стороны. Но не били—этим обязан я, кажется, Грешнеру, начальнику конвойной команды, приличному человеку. Прибежал Высоцкий с повязкой на груди. Топая ногами, он стал кричать: «Дайте мне его, я его разорву собственными руками. За что ты убил меня, мерзавец?» — «За то, что вы убили Сазонова». — «Я же тебя, мерзавец, не убивал!» Он размахнулся и хотел меня ударить, но — «ваше благородие, ваше благородие» — его оттащили, и он лишь слегка задел меня по виску, да и сил у него в тот момент, видимо, не было. В ярости, трясущимися руками схватил он со стола какую-то вещь, стеклянное блюдечко, и бросил его в меня. Она разбилась, а его повели на перевязку. Меня повели в тюрьму. С меня стащили все и, в одном арестантском белье, поместили в камеру, откуда вынесли все, за исключением койки. Но вскоре мне возвратили всю мою одежду и в продолжении всего остального времени пребывания в Зерентуйской тюрьме обращались вежливо.

Приехали следственные власти из Читы: следователь, товарищ прокурора и начальник охранного отделения в сопровождении жандармского унтера. Закончив следствие, они забрали меня с собой и привезли в Читу, где и посадили в тюрьму.

Первая пуля попала Высоцкому в бок (несмотря на испуг, он настолько владел собою, что, приподнявшись, быстро повернулся правым боком ко мне, прикрыв его согнутой рукою), прошла насквозь между ребер, и, оставив сквозную, рванную, легкую рану, забилась в стенку; ее не нашли. Таким образом, то обстоятельство, что пуля была отравлена, осталось неизвестным, мои же сомнения относительно яда подтвердились. Вторая пуля, пробив Высоцкому тужурку, попала, по данным следствия, под очень острым углом в крест или медальон, висевший у него на груди, рикошетом снова пробила тужурку и в дальнейшем полете застряла в стене кафельной печи, где ее и нашли. Когда я впоследствии, при пред'явлении мне следственного материала, спросил у следователя, почему этот «крест или медальон» не приложен к делу в качестве вещественного доказательства, он ответил, что Высоцкий не хотел с ним растаться, как с вещью дорогой для него, боясь, что она пропадет. Хотели-ли использовать, в подходящей интерпретации, легенду о чудесном спасении при помощи нательного креста, чтобы скрыть, что под тужуркой на Высоцком была защитная одежда, или следователь говорил правду,—не знаю.

VI. В Чите.

Если исключить: во-первых, всем известные неудобства и неприятности жизни в тюрьме—общие и специальные *); во-вторых, довольно часто посещавшую меня неприятную мысль, найдется-ли у меня в свое время достаточно воли, чтобы подавить естественный страх смерти и пойти спокойно на казнь; если исключить все это, то время пребывания в Читинской тюрьме было спокойным, и потому продуктивным временем моей жизни. В тишине одиночки я много думал над вопросами той специальной области знания, работу в которой я склонен считать своим призванием. И я пришел к некоторым результатам, которые и теперь считаю ценными. К сожалению, обстоятельства все время складывались так, что эти результаты и до сих пор не могли подвергнуться необходимой для всяких индивидуальных достижений публичной санкции.

*) Одиночкой служил мне изолятор в тюремной больнице, в соседнем же, отделявшемся от моего тонкой деревянной перегородкой, непременно находился кто-нибудь из неспокойных арестантов: эпилептик, симулирующий сумашествие, страдающий манией преследования действительный душевно-больной.

Кончался пятый месяц моей жизни в Читинской тюрьме. 11-го января 1912 года меня судила выездная сессия иркутского военно-окружного суда.

Из общеизвестных, обосновывающих противоправительственный террор, мотивов: действенного примера; дезорганизующего власть момента; разрушения веками укреплявшейся в массах идеи о неприкосновенности и святости власти и ее даже преступных представителей; удовлетворения чувства общественной справедливости — я в своих об'яснениях на суде имел в виду только последний мотив, единственно лежавший в основании совершенного мною акта. Основной мыслью в этом моем об'яснении (не могу назвать его речью, ибо, по непривычке к публичным выступлениям, говорил я не очень-то складно) была та, что в обществе, в котором призванные к тому государственные установления не властны предупредить и прекратить совершающиеся насилия, со стихийной силой возникают установления самочинные — партии, группы, отдельные лица, являющиеся в данном случае выразителями морального суждения общества и по праву берущие в свои руки меч правосудия, выпавший из рук его оффициальных представителей; что в этом смысле и я, совершивший покушение на жизнь Высоцкого, преступника перед обществом, совершил его со спокойной совестью, исполняя свой долг перед партией и обществом, хотя и с сожалением о способе осуществления правосудия, к которому пришлось прибегнуть, противоречащем естественному человеческому ощущению, но единственном в данных условиях.

Суд, руководившийся 102 статьей свода военных постановлений, по которой мне было пред'явлено обвинение, приговорил меня к смертной казни, однако же, постановил ходатайствовать пред генерал-губернатором о замене казни двадцатью годами каторжных работ. Случайно счастливый для Высоцкого исход дела об'ясняет это постановление.

В последних числах января приехал в Читу иркутский генерал-губернатор Князев. Он был в тюрьме, был и в моей одиночке, и об'явил мне, что он удовлетворил ходатайство суда.

В апреле того же 1912 года я был отправлен из Читы в Александровскую центральную каторжную тюрьму, близь Иркутска, где я и должен был отбывать назначенный мне срок.

Б. ЛАГУНОВ.



Генерал Киашко в Алгачах.

Смерть Е. С. Сазонова в конце 1910 года, массовые самоубийства политических каторжан и, в особенности—Кутомарской тюрьмы, в июне мес. 1912 г., очевидно, ни в какой мере не заставили гл. тюр. упр. отказаться от намеченной задачи—покорить политических каторжан Нерчинской каторги, подобно тому, как это уже было проделано почти во всех каторжных централах Европейской России. С этой целью происходит перегруппировка тюремных сатрапов. Известный изверг по российским централам, фон-Кубе, назначается тюремным инспектором Забайкальской области, куда входили, главным образом, все тюрьмы Нерчинского округа. Слухи все настойчивее предупреждали обитателей тюрем, что скоро час пробьет. Атмосфера начала сгущаться; гроза надвигалась. Предвестником этой грозы явился приезд начальника Нерчинской каторги, полковника Забелло.

Кажется, в первых числах сентября 1912 г. в Алгачинской тюрьме разнеслась весть, что в тюрьму приехал полк. Забелло. Обычно нач. каторги, об'езжал тюрьмы приблизительно раз в 3—4 месяца. Последний его приезд имел место в июле. Отсюда был вполне правильно сделан вывод, что этот приезд имеет «особый смысл», что он должен подтвердить все те мрачные слухи, которыми питалась тюрьма последние недели. А слухов было много: как из тюремных «сфер», так и от вновь приходящих товарищей, постепенно стало известно, что для более успешного и скорейшего водворения порядка в тюрьмах Нерчинской каторги, назначен новый военный губернатор Забайкалья. Его предшественник был признан не отвечающим своему назначению. Но кто этот новый деспот, с какими полномочиями он явился—оставалось все-таки неизвестным. Во всяком случае тюрьма готовилась к наихудшему. Спешно писались и отправлялись разными оказиями, «на волю» письма. Не менее спешно доставали всякими правдами и неправдами яд—морфий, стрихнин, даже атропин и пр.

Каждый чувствовал, что это будет, быть может, последний бой... Предыдущие годы упорной борьбы в конец истощили силы заключенных.

Обычно перед каждым посещением начальника каторги все камеры самым детальным образом обсуждали все животрепещущие вопросы тюремного обихода, избирали представителей от камеры, которым и поручалось

вести переговоры с нач. каторги, пред'являть ему от всего коллектива или от камеры те или другие требования, дискуссировать по спорным вопросам и пр. Не то было на этот раз. Камерные собрания прошли довольно быстро. Из камеры в камеру политического и общего корпуса полетели «телеграммы». Скоро стало известно настроение и решение всех заключенных—никаких требований не пред'являть, занять выжидательную позицию. Случилось же нечто, в тюремной жизни необыкновенное.

Полк. Забелло, бывш. начальник арестантских рот, бывш. офицер царской армии, по своей природе был довольно жестоким человеком. С уголовными каторжанами он нисколько не стеснялся. Здесь он проявлял свою жестойкость в полной мере. Иное его отношение было к политическим. Правда, неоднократно он пытался и по отношению и к политкаторжанам проводить жестокую политику, но каждый раз получал должный отпор и на этом успокаивался до следующего, конечно, приказа из центра. Вполне возможно, что сам он не раз и не два просто прятался за спину начальника той или другой тюрьмы *). Ведь это было так удобно—делать «черные дела» чужими руками. Лично же он, пожалуй, боялся политических: «С этими политиками свяжись, так еще и убьют»,—как-то под веселую руку сказал он кому-то в Зерентуйской вольной команде.

Боязнь ли политических, боязнь ли за свою карьеру, или в нем проснулась человеческая душа, и он хотел предотвратить новые жертвы, но последний его приезд (вскоре он был удален со службы) не был обычным его приездом.

В день обхода тюрьмы стало также известно, что скоро—на-днях приезжает в Алгачи новый воен. губ. Забайкалья. Камера № 3, в которой сидел и автор этих строк, в то время считалась тюремной администрацией «головкой», потому-ли что в ней было много безсрочных каторжан, потому-ли что в ней было свыше десятка профессиональных революционных работников, но у тюремщиков, а, позднее и у ген. Кияшко—такое именно отношение к ней было. Минуя две крайние камеры, полк. Забелло направился прямо в камеру № 3. Когда открылась камера, мы все были крайне удивлены, с какой серьезностью, я бы сказал—удрученностью, он вошел в камеру.

— Здравствуйте,—тихо пронеслось по камере.

— Здравствуйте,—также мрачно ответила камера.

Пройдясь молча с опущенной головой раза два по камере, Забелло останавливается по средине. Не помню, как это случилось, но в этот момент

*) В районе Нерчинской каторги т. е. в его ведении, было 7 каторжных централов и 4 присковых тюрьмы.

вся, сопровождавшая его тюремная «свора», кроме нач. тюрьмы и старшего надзирателя, который занял место у входной двери, исподлобья глядя на заключенных,—удалился в коридор.

— Вот что, господа. Я приехал, чтобы предупредить вас, что через 2—3 дня каторгу будет об'езжать новый военный губернатор Забайкалья. Столица нами не довольна. Департамент полиции, главное тюремное управление требуют беспременного признания вами всех тюремных инструкций. Вы до настоящего времени не подчинялись этим инструкциям. Неужели вы еще хотите страдать? Неужли многочисленные смерти, самоубийства ваших товарищей не показывают вам, что вы не в силах настоять на своем. Я не знаю, что скажет, что будет делать новый губернатор. Но я вас предупреждаю, что это боевой генерал, что, очевидно, он имеет определенные указания из Питера. Вы понимаете, что он будет от вас требовать, а вы должны будете подчиниться. Поймите меня, что мне даже тяжело думать о новых жертвах. У вас есть возможность избавиться от этих ужасов. Встретьте начальника области так, как это полагается по инструкции, а мы же (имеется в виду местная тюремная администрация) будем с вами жить и впредь так, как жили до настоящего времени. Подумайте, решите все эти вопросы. Прошу вас, господа, быть уступчивее. К вечеру или завтра утром через своих представителей сообщите мне свое решение».

Странно было видеть таким мрачным этого старика; еще более странно было слушать его. В 3 камере царила гробовая тишина. Лишь изредка раздавалось из уст заключенных—«нет». Это, очевидно, заставляло полк. Забелло еще и еще говорить.

Видимо, у полк. Забелло была своя, быть может, тяжелая миссия—предотвратить или, хотя бы, отдалить «стычку» с новым начальником области.

Чем больше говорил полк. Забелло, тем яснее для каждого заключенного было, что эта «стычка» неизбежна, что приезд нового губернатора откроет еще одну кровавую страницу неравного боя—заключенных каторжных тюрем—с одной стороны, Главного тюремного управления, Департамента полиции—с другой. Вопрос был ясен. «Нет»,—таково было решение всех камер.

Нельзя было снестись с одиночным корпусом. Он был совершенно изолирован от общего корпуса. Но, так как в одиночном корпусе в то время сидели лучшие товарищи (Ильинский, Тахчоглу и др.), то не было никакого сомнения в том, что их решение будет тем же, что и наше. Решение было сообщено через наших представителей начальнику каторги. Выслушав их, полк. Забелло замогильным голосом сказал:

— Ну, как хотите; я все сделал; очень жалею, что нельзя предотвратить тяжелых последствий...

Тюрьма стала готовиться к приезду «боевого» генерала. Физиономия приезжающего губернатора стала ясной. Отношение также было определенное—никаких разговоров, никаких новых требований не пред'являть, но и ни одной позиции не сдавать.

Всем ясно было, что борьба будет тяжелая, что, быть может, дни многих товарищей уже сочтены.

Но жребий брошен.

* * *

Первая ласточка не случайно прилетела. Прошло не больше двух-трех дней, и тюрьма с часу на час ожидала приезда генерала Кияшко. Как потом выяснилось,—этот «боевой» генерал, участник Японской войны, подвизался потом в качестве усмирителя революционного движения среди крестьян и рабочих северного Кавказа. Такие, во всяком случае, циркулировали слухи в тюрьме. Внешний вид у генерала был действительно воинственный.

С раннего утра тюремный двор стал наполняться надзирателями. Происходила спешно чистка двора, корридоров, камер. Спустя несколько часов суматоха стихла. Прошел обед с его обычной противной «баландой» и кислым хлебом. Тюрьма постепенно начала успокаиваться. Телефонисты дежурят у стен соседних камер. По корридору непрерывно прохаживаются дежурные надзиратели, то и дело заглядывая в волчки камер. Время уже идет к вечеру. «Губернатор в тюрьме»,—вдруг разносится весть по камерам.

— Где? как? —слышатся в нашей камере отрывистые вопросы.

Обычно приезжее начальство начинало обход тюрьмы или с третьего общего корпуса, где сидели уголовные, или с первого общего, где сидели политические каторжане. В третий корпус «начальство» не проходило. Пройти нужно мимо окон первого корпуса. Оказалось, что прыткий генерал с ж. д. ст. «Борзя», находившейся от Алгачинской тюрьмы на расстоянии почти 140 верст, приехал со своей «блестящей свитой» прямо к тюремным воротам, принял от начальника рапорт и направился в корпус одиночек и темных карцеров. Здесь он получил первое «боевое крещение». Впоследствии стало известно, что товарищи из одиночек (в каждой сидело по два человека) самым энергичным образом демонстрировали свое глубокое презрение к «его превосходительству». На генеральский окрик «здорово»—товарищи поворачивались к нему спиной и отходили к окну. Передавали, что

особенно не понравился генералу прием, оказанный ему С. Ильинским, позднее покончившим жизнь самоубийством в Ярославском централе, и Д. Тахчоглу.

— Чего ты смотришь в окно,—гремел озверелый генерал, подчеркивая слово «ты».

— С тобой я разговаривать не хочу,—следовал энергичный ответ товарищей.

— Кто это такой?—шумел генерал, вылетая, как ошпаренный кипятком, из одиночного корпуса.

— Это Ильинский, убийца графа Игнатьева и организатор Александровского побега,—докладывал начальник тюрьмы. Выходя из корпуса, он тут же отдавал тюремной администрации наскоро свои распоряжения о применении к заключенным репрессивных мер.

Появления генерала во дворе не пришлось нам долго ожидать. Наш взор привлекает появившаяся во дворе светло-серая шинель с красной подкладкой. Генерал некоторое время останавливается по средине двора. Вокруг него стоит большая свита. Здесь представители прокуратуры области, представители корпуса жандармов, какие-то штатские—суетятся, шпики, очевидно,—несколько офицеров конвойной команды и многочисленный штат тюремщиков во главе с начальником каторги, полк. Забелло.

Происходит любопытная картина. Ген. Кияшко что-то кричит и машет почти около самого носа полк. Забелло. Расслышать слова не удалось, так как эта сценка происходила довольно далеко от нашей камеры, да и окна были администрацией закрыты.

Забелло, как школьник старого времени, стоял напротив генерала, держа руку около фуражки. Некоторым из нас даже показалось, что рука его сильно дрожит. Жаль было смотреть на этого старика. В этот момент вся наша ненависть была направлена исключительно против «его превосходительства».

— За нас отдувается старик,—говорит кто то из товарищей с соболезнованием.

— Ничего,—иронизирует другой:—«нос выдержит».

К слову сказать, Забелло за свой синий большой нос (старик любил-таки выпить) имел в числе других кличек и кличку «Нос».

Скоро вся эта компания двинулась в третий—уголовный корпус. Там она долго не задерживалась. Усмиритель покинул тюремный двор. Полное недоумение среди заключенных:

— «Что это значит?»—спрашивали мы друг у друга.

— «Очевидно, наш черед завтра»,—об'являет камерный староста.

Все предположения на этот счет вполне оправдались. Видно, одиночки произвели на Кияшко сугубо-неприятное впечатление. Нужно было ознакомиться предварительно с составом заключенных, нужно было составить примерный план «наступления» на камеры общего корпуса. Из тюремных сфер стало известно, что в тот же вечер Кияшко потребовал себе все дела политических заключенных Заслушал доклад начальника о положении тюрьмы и о первоначальном составе заключенных. Утром он явился во всеоружии. С ним та же свита. Невольные жители камеры № 3—официально—камера туберкулезно-больных, в ожидании гостя, накинули на плечи большие халаты. Таковые полагались только этой камере. Нужно заметить, что года за два до этого времени, по предписанию Главного тюремного управления, в целях пресечения широкого распространения туберкулеза среди заключенных—все больные были выделены в особые камеры. Надо полагать, лучшей меры борьбы с туберкулезом Питер не нашел. Щелкнул замок у камеры. Каждый из нас занял место около своих нар. Дежурный надзиратель широко раскрывает дверь. В корридоре слышна команда. Одна минута, и камера заполняется всякого рода начальством в военных и гражданских мундирах. Конвой, нижние тюремные чины занимают места в корридоре. Бравый генерал, осмотрев пристально камеру и всех заключенных, положив воинственно руку на рукоятку своей шашки, остановился почти по средине камеры. Окружающие чины не сводят глаз с него. На мгновение все замерло...

— Вы сюда пришли,—резко, то повышая, то понижая голос, начал Кияшко,—вернее вас сюда привели, как государственных преступников. Вы не просто преступники, вы государственные преступники, совершившие тягчайшие преступления против родины и против царя. И, если уголовных арестантов нужно карать, то вас следует жестоко наказывать. Многим из вас смертная казнь заменена каторгой. Вы это должны всегда помнить. Вы—арестанты, потерявшие всякие права. Но все-таки хочу указать здесь, что и среди вас есть две группы. Есть вожаки, коноводы, которых нужно стереть с лица земли, а есть просто заблудшие. Это в особенности относится к бывшим военным, которых среди вас довольно много. Вас эта головка натаскала, как собак натаскивают. И вы совершили преступление. Вы осквернили военный мундир, вы оскорбили достоинство армии, его величества. Это вы не забывайте. Вам предстоит искупить свои преступления. Тюремная жизнь знает свои законы, и все вы этим законам должны подчиниться»...

Говорил он еще и еще в этом же духе довольно много. К концу своей речи заметно стал волноваться. Сделав небольшую паузу, осмотрев вновь всех, он кончает кромким резким голосом:

— «Ну, а теперь, как русский человек, я привык говорить—здорово!». Камера ответила гробовым молчанием.

— «Молодцы», «Молодцы»,—уже не говорил, а рычит он, как бешенный зверь. Лицо его налилось кровью. Глаза засверкали: он начал быстро шагать по камере, не снимая руки с рукоятки шашки.

— «Начальник»,—почти закричал он.

Дрожащей рукой начальник тюрьмы берет под козырек.

— Слушаюсь.

— Приказываю вам немедленно же перевести всю камеру на карцерное положение; лишить всех переписки, выписки продуктов, книг, письменных принадлежностей, лишить медицинской помощи, заковать всех в ручные и ножные кандалы; рассадить их по уголовным камерам, пусть там им уголовные ребра поломают, срок каторги каждому увеличить, согласно указания тюремного инспектора.

— На два года можно увеличить,—вставляет тюремный инспектор, фон-Кубе.

— Пока прибавить год каждому,—продолжает Кияшко,—предписание от меня получите своевременно.

Полковник Забелло стоит немного поодаль с опущенной головой. Ведь его генерал обошел. В камере настроение у всех товарищей напряженное. У некоторых глаза гневно сверкают. Казалось, что еще один момент, и начнется всеобщая свалка, начнется ад кромешный.

— Вы должны также помнить,—не глядя на заключенных, рычит генерал, что у меня еще есть одно средство. Тут он делает очень выразительный жест рукой (пороть). И со словами:

«Я к вам еще приеду на следующий год»,—собирается выйти из камеры. В это время его взгляд останавливается на тов. Усыреве. Упомянутый товарищ, по выражению своих глаз, производил часто впечатление улыбающегося человека. «Добродушный киргиз», таково было прозвище товарища, вероятно, не думал, что его глаза так не понравятся генералу. — А, он еще смеется,—завопил Кияшко:—«Я вам покажу, я вам покажу!». С этими словами, как стрела, он вылетел из камеры. Почти аналогично с этим нового деспота встретили и все остальные камеры.

* * *

К вечеру того же дня политический корпус погрузился в кандальный звон. Ни одного предмета в камерах оставлено не было. Вместо матрацев—ножные кандалы, вместо подушек—ручные. Приказ генерала в точности был исполнен. Он уехал дальше—в другие тюрьмы.

Он делал первый об'езд каторги.

Ко всем репрессиям местная тюремная администрация прибавила еще пытку холодом. В камерах держалась температура ниже нуля. Темный и светлый карцер сделались долговременным местопребыванием заключенных. Потянулись дни, недели и многие месяцы тяжелой, упорной, временами кровавой борьбы за достоинство революционера, за элементарные права человека.

П. ПИВОВАРОВ.

Тебя осудили...

(1906).

Тебя осудили и в ржавые цепи
В застенке палач закует,
Но мысли свободной, как южные степи,
Тюремный режим не убьет.

* * *

Тебя осудили и в стены-могилу—
В сырой каземат отведут,
Но волю мятежную—грозную силу
В кровавых цепях не скуют.

* * *

Ведь мысль—это море безбрежной
стихии,
Ведь мысль—это птицы полет,
И кто же для мысли даст цепи такие
Что даже и мысль закует?!...

* * *

Тебя осудили и в ржавые цепи
В застенке палач закует,
Но мысли свободной, как южные степи,
Ни цепь, ни палач не убьет!

Петр СЕРГЕЕВ.

Процесс 133.

(Горловское восстание в декабре 1905 г.).

Был жаркий летний день. Солнце бросало яркие лучи через решетку моего окна. В одиночке было страшно душно, и я изнемогал от жары. За стеной слышен был гул и звон цепей. Я нервничал и отбросил книгу в сторону—не до чтения было. Весть о том, что провокатор узнал настоящую мою фамилию, меня сильно беспокоила, ибо я прекрасно понимал, что теперь-то жандармерии легко будет напасть на следы моего прошлого. Если до сих пор втечении 7-ми месяцев мне удавалось водить ее за нос и скрывать все следы своих преступлений (преступлений, с ее точки зрения), то теперь, когда ей удалось узнать настоящую мою фамилию, ей, вероятно, легко удастся также узнать и о том, что меня усиленно ищет екатеринославская жандармерия по делу о революционном захвате линии Екатер. жел. дор.

Мысленно представляя себе, как жандармский полковник Иванов вызовет меня на допрос и скажет с большим злорадством:—«Ну, что, голубчик, кто был прав. Говорил я вам, что рано или поздно мы узнаем, кто вы, и какие преступления вы совершили; шила, голубчик, в мешке не утаишь».

В тот же день, к 4-м часам вызвали меня в тюремную контору на допрос. Допрос был недолгий: «Сознаетесь ли вы в том, что вы не бродяга, а что настоящая ваша фамилия С... и что вы являетесь одним из главарей Горловского восстания?»—спросил меня жандармский полковник Иванов,—«Не уклоняйтесь от прямого ответа, ибо все данные у нас на-лицо».—«Раз вы обо всем осведомлены, то и поступайте, как сочтете нужным»,—ответил я. На этом беседа наша закончилась, и я был отведен в одиночку. Пять минут спустя защелкали замки, раздался звон цепей—корридор выпускали на прогулку. Я от нее отказался. В этот момент предо мною со всей своей яркостью выплыло прошлое. Замелькали один за другим знакомые и друзья, убитые во время последнего Горловского боя. Вспомнился последний 8-часовый беспрерывный бой, закончившийся полным нашим поражением. Враг был во много раз сильнее нас. В то время, когда в нашем распоряжении были только винтовки и револьверы, враг располагал всеми видами оружия

вплоть до тяжелых орудий. Единственное преимущество наше состояло в том, что занимаемая нами позиция была выгоднее позиции врага, и не будь у него тяжелых орудий, победа осталась бы за нами. Учитывая превосходство врага, мы сразу же прибегнули к хитрости: мы стали завлекать неприятеля в такие места, где нам легко можно было бы разбить его. В боях с пехотой и кавалерией мы, действительно, оказались победителями, но когда враг подтянул тяжелую артиллерию и полк кубанских казаков, мы вынуждены были сдаться, силы были уж слишком неравные. К тому же, помимо численного и материального превосходства, у неприятеля оказалось еще одно более важное обстоятельство: разбитая нами пехота и кавалерия, отступая, напала на наш красный крест и захватила его в плен вместе с тысячной толпой крестьян, вооруженных железными пиками и являвшейся нашим тылом. Вскоре вражеский парламентер доложил нам о случившемся, предложив сдаться под угрозой расстрела пленных. Мы решили, в свою очередь, послать парламентера для переговоров, и выбор пал на тов. Динего, любимца повстанческой массы, стоявшего во главе нашего революционного штаба. Пылкий и смелый, исключительно отзывчивый, готовый на самопожертвование в любой момент, он был любим не только товарищами по работе, но и детьми, которых он на-ряду с грамотой учил быть справедливыми, честными, старался воспитать в них будущих революционеров. Товарища Динего и его приятельницу Доброву, преподавательницу того же жел. дор. училища, погибшую во время Горловского восстания, часто можно было встретить окруженными детьми, с которыми они ласково, любовно беседовали.

Этому товарищу мы и поручили передать врагу, что сдадимся при условии немедленного освобождения взятых им в плен и гарантии нашей свободы. Ждали мы долго его возвращения, но напрасно—наш разведчик принес нам печальную весть, что тов. Динего сражен пулей врага, не доходя его позиций. Весть эта оглушила нас больше, чем раздавшийся вскоре взрыв снаряда. Мы не могли понять, как можно убить человека, идущего с белым флагом для переговоров. По этому случаю высказывались разные мнения. Некоторые из товарищей были убеждены, что убийство нашего парламентера совершено с целью озлобить нас и вызвать на открытый бой; другие считали, что этим преступлением имелось в виду внести в наш лагерь суматоху и замешательство. Лишь впоследствии выяснилось, что тов. Динего пал жертвой мести кубанского казака, лошадь которого погибла во время взрыва нами вражеского барака. Вскоре послышались и одиночные пушечные выстрелы. И снова все стихло. Взобравшийся на вышку товарищ сообщил нам, что враг идет в наступление; очевидно, он решил, что мы до-

статочно напуганы его огнем, и стоит только двинуться в атаку, как мы сразу сдадимся без боя. Он ошибся в своем расчете. Едва он показался, мы встретили его таким огнем, что, озадаченный, он в первый момент растерялся, затем спохватился и последовал нашему примеру. Полчаса длилась перестрелка. В разгаре боя раздался оглушительный взрыв, обративший врага в бегство. Это один из наших разведчиков удачно бросил бомбу. Наступила передышка. Для нас было ясно, что спустя короткое время, бой возобновится и, в конце концов, придется уступить силе. Но пока надо было воспользоваться временным поражением врага.—Решено было послать меня для переговоров в неприятельский лагерь. После непродолжительной беседы враг согласился на следующие условия: 1) освободить всех пленных, 2) разрешить нам забрать всех наших убитых и раненых, для чего предоставить в наше распоряжение один паровоз и 15 вагонов, и 3) гарантировать нам свободу. Переговоры наши не привели бы, пожалуй, к желанным результатам, если бы враг знал, как ничтожны наши силы. Когда пленные были освобождены, боевая наша дружина, захватив все оружие, за исключением испорченных винтовок, скрылась подземным ходом.

На ст. Гришино, куда мы прибыли, рев. штабу предстояло решить, как быть. Мы понимали, что все кончено. Московское восстание было подавлено, в Екатеринославе началась реакция, остались мы—горсточка революционеров, окруженная со всех сторон врагами. Сопротивляться—значило потерять тех немногих, которые уцелели. Похоронив погибших товарищей, мы разбрелись, кто куда, и снова ушли в подполье.

Шесть месяцев спустя меня накрыли в Одессе с тайной типографией, и Одесским военно-окружным судом я был приговорен к 4-м годам каторжных работ. Хорошо было бы этим ограничиться, но, к сожалению, мое инкогнито было открыто, а, вместе с ним и мое причастие к Горловскому восстанию. И вот, закованный в ножные кандалы, я был отправлен этапом в Екатеринославскую тюрьму. О режиме ее я узнал дорогой подробно. Кое-что об этом я слыхал и раньше в Одесской тюрьме; там практиковалось избиение заключенных, и отличался в этом отношении старший надзиратель Белокоз—«Зверь кровожадный», как его называли. Когда мы подходили к тюремным воротам, конвойная команда сообщила нам, что в последнее время все прибывающие этапы—Белокоз пропускает сквозь строй; это означало, что нас будут бить смертным боем. Началась приемка. Конвойный начальник передал все бумаги старшему тюремному надзирателю Белокозу. Злобно окинув всех своим зверским взглядом, он начал перекличку: «Петров», — «я», — откликнулся кто-то. «Как звать?» — «Николай Иванович». — «Православный?» — «Да». — «За что арестован?» — «За под-

жег».—«А, собака, так ты поджигатель,—взять его!»—крикнул он стоящим тут же, с ног до головы вооруженным тюремным надзирателям. Что с ним делали, не трудно было догадаться нам так как через несколько минут раздался душураздирающий крик Петрова. Дошла, наконец, очередь и до меня. Испытав все прелести, как и остальные товарищи, я сразу попал в темный карцер. Белокоз решил, что я важный политический преступник, и пока будет определена камера для меня, смогу побыть несколько дней и в карцере. Утомленный дорогой и нещадно избитый, я свалился на мокрый асфальтовый пол и уснул мертвым сном. Проснулся я, или, вернее, меня разбудили, на следующий день утром во время проверки; убедившись, что кандалы мои в порядке, Белокоз распорядился посадить меня в 9-ю башню, где находились некоторые из моих сопроцессников. Товарищи встретили меня очень тепло. Они знали, что я скоро присоединюсь к ним; вызванному на допрос тов. Кузнецову следователь по особо важным делам сказал, что удалось, наконец, меня разыскать и, что скоро я прибуду в Екатеринослав. В тот же день я отправился на допрос. Попросив меня сесть, лукаво улыбнувшись, следователь начал:—«Знаете, вы ведь у нас долгожданный гость; признаться, мы уже потеряли надежду видеть вас; ну, рассказывайте, где странствовали, что поделывали, почему так долго не изволили являться?».

— «По вашему тону, господин следователь, я вижу, что у вас сегодня хорошее настроение. Я же этим похвалиться не могу, а потому прошу вас приступить к допросу и не томить меня». Мое замечание заставило его сразу переменить тон и перейти к делу. Наконец, допрос был закончен. Теперь оставалось ждать суда. А время шло своим чередом. Дни казались годами, а месяцы вечностью. Приближалась осень 1908 года... В октябре мы получили, наконец, обвинительный акт на 114 листах. Обвинялись мы по 102, 101 и 1000 ст.ст. Судить нас должна была специально назначенная выездная сессия Одесского Военно-Окружного суда. Председателем был назначен знаменитый генерал Лопатин, в целом ряде процессов отличившийся жестокими приговорами; обвинителем, не менее знаменитый «людоед» подполковник Курочкин, за наш процесс получивший «полковника». Процесс наш длился ровно полтора месяца, с 7-го ноября по 22-ое декабря. Допрос свидетелей, в виду многочисленности их (1315 человек), занял более двух недель. Наконец, 21 декабря в 11-ть часов ночи прения сторон были закончены, и судьи удалились на совещание. Для отвода глаз совещание затянулось до 2-х часов дня 22-го декабря, между тем, как вся эта комедия была совершенно излишней, так как приговор нам был заготовлен еще задолго до начала суда,—в этом мы все были уверены. Свой смертный приговор я выслушал спокойно, я был к этому подготовлен. Из 133 сопроцес-

сников к смертной казни было приговорено 44 человека, 19 было оправдано, а все остальные были осуждены на каторгу на разные сроки. В тот же вечер всех смертников заковали в ножные и ручные кандалы. Более слабые духом, а таких среди наших товарищей, к сожалению, оказалось большинство, подали на «высочайшее», лишь 12-ть человек, испытанных, старых революционеров, остались верны делу революции и рабочему классу. После этого случая тюремная администрация на второй же день разместила нас по разным камерам, причем к нам, не подавшим на высочайшее имя, был применен более строгий режим. Нам отвели две башни, 8-ю и 9-ю, и разместили по 6-ть человек в каждой. Сопроцессникам, хлопотавшим о помиловании, несколько дней спустя смертная казнь была заменена каторгой на разные сроки. Мы же со дня на день ждали исполнения приговора. Потянулись длинные томительные дни. С воли доходили до нас вести о том, что реакция царит всюду, что массовые аресты и избиения рабочих стали обычным явлением. Реакция усиливалась с каждым днем и поскольку она проявляла свою жестокость на воле — постольку и мы ее чувствовали в тюрьме. Повальное избиение заключенных стало ежедневным. Крики избиваемых слышались с раннего утра до поздней ночи; били чем попало, — ключами, палками, колотушкой, которой пробовали тюремные решетки, прикладами, рукоятками револьверов, только не кулаками,—руки свои они жалели. Били смертным боем, и не одна сотня молодых жизней была унесена в могилу преждевременно. Нас тюремная администрация не трогала — побаивалась. Мы заявили начальнику тюрьмы, что, если кто-либо из надзирателей осмелится тронуть нас, мы удушим его на месте. И в этом не сомневались. Помню, однажды какой-то надзиратель из новичков ударил одного из наших смертников — Петю Бабичева, последний тут же обхватил его ручными кандалами и стал душить. Если бы не подоспевший во время на помощь другой надзиратель—быть беде. После этого случая к нам стали относиться более вежливо и предупредительно. Высшая тюремная администрация считала нас зачинщиками всяких обструкций и голодовок и потому старалась изолировать нас от остальных заключенных.

Обычно смертный приговор приводился в исполнение спустя 10 — 12 дней. Это был предельный срок, по истечении которого либо казнили, либо заменяли казнь каторгой. В редких случаях отдельных смертников держали больше этого срока, и тогда вся тюрьма говорила об этом, как об особо важном событии. В башнях нас держали 7 дней, после чего перевели в общие камеры смертников. Камеры эти помещались в подвальном этаже — клетки в 6-ть шагов в длину и 4 в ширину, асфальтовый пол, низкий сводчатый потолок, грязные сырые стены, ни столов, ни скамеек, ни коек—мо-

гилы с заживо погребенными людьми. В каждой такой камере сидело от 20 до 25 человек. На казнь брали ежедневно не меньше 5—6 человек, около 12-ти ч. ночи. Этот час был роковой. Раньше 12-ти никто не ложился спать. Да и то сказать, какой вообще мог быть сон, когда каждого из нас угнетала одна мысль—неужели сегодня... Минуты казались часами. Малейшее движение, малейший шорох в корридоре заставлял нас вздрагивать и прислушиваться, не идут ли... Вот явственно послышались шаги, звякнули ключи... С замиранием сердца ждешь момента, когда щелкнет замок и в камеру ворвутся тюремные палачи. Но проходит несколько минут и мы убеждаемся, что это была ложная тревога, и таких тревог бывало по несколько в ночь. Не мало бывало и таких случаев, когда тюремщики, с целью лишний раз поиздеваться над нами, устраивали ложные тревоги: умышленно позвякивали ключами, вкладывали ключи в замочные скважины, щелкали замками. И после всех этих испытаний наступала ужасная неумолимая действительность. Каждую ночь врывались к нам банды вооруженных тюремщиков и забирали с собой 5—6 человек. Жуть охватывает, когда вспомнишь об этом. Между тем, время шло. Проходили дни, недели... за неделями потянулись долгие томительные месяцы.... О нас словно забыли. Зима сменилась весной, зеленели деревья, появилась травка, защебетали птички, ярче засветило солнце, лаская нас своими весенними лучами. После долгих хлопот наших друзей на воле нас снова перевели в башни. Ну, думали мы, теперь надо раз навсегда покончить с мыслью, что нас могут еще казнить. Нашему переходу в башни радовалась вся тюрьма. Товарищи были убеждены, что смертная казнь нам заменена каторгой, и что тюремная администрация на-днях оффициально сообщит нам об этом. Нужно сказать, что и она сама не верила больше в нашу казнь. При встречах товарищи всегда подшучивали над нами, называя нас «смешняками» вместо «смертниками», говорили: «вот пошли приговоренные к смешной казни». Даже надзиратели, выпуская нас на прогулку, шутили: «а, ну-ка, смешняки, выходи». Но вот прошла и весна, наступило лето. Почти всех наших сопроцессников уже разослали по разным централам, а мы все еще находились в полном неведении,—не то смертники, не то каторжане. Эта неопределенность положения сильно угнетала нас, и мы решили вызвать прокурора для об'яснения. Он не изволил явиться. Тогда мы потребовали его вторично, и он пришел в сопровождении тюремного инспектора. На все наши вопросы он давал нам уклончивые иезуитские ответы, чувствовалось, что он и сам хорошо не знает, почему так долго нет определенного распоряжения из центра. Собираясь уходить, он обратился к нам со следующими словами: «А, знаете, господа, я бы посоветовал вам все же подать на высочайшее имя,

что вам стоит».—«Негодяй, палач, крикнули мы все в один голос, за этим мы вас звали? Вон отсюда». Не знаю, чем кончилась бы вся эта история, если бы наши «гости» не поспешили оставить башню. Возмущению нашему не было границ. Еще долго после их ухода мы бегали из угла в угол, проклиная всю эту свору палачей. В результате нашей выходки нас лишили переписки с родными на месяц, прогулки на две недели, и горячей пищи на неделю. Лето близилось к концу. Так прошло 8 бесконечно долгих и томительных месяцев с момента приговора. Описать, что пришлось пережить, перестрадать и перечувствовать, сколько бессонных ночей пришлось провести—не возможно. Один из таких однообразно-томительных дней закончился тщательным обыском, продолжавшимся с 6-ти до 9-ти часов вечера. До часу время прошло в беседе, и едва мы успели улечься, как послышались в корридоре шаги, щелкнул замок и в одно мгновение башня наша была переполнена надзирателями. Начальник тюрьмы держал в руках какую-то бумагу. Развернув ее, он начал читать дрожащим голосом фамилии наших товарищей. Первым он вызвал тов. Кузнецова, на которого тут же набросилось 4 надзирателя; схватив его за руки и за ноги, они потащили его в корридор. Затем был вызван тов. Бабичев и тов. Файбишов; не дожидаясь дальнейшего вызова, тюремщики набросились на меня и на остальных моих товарищей и тоже потащили в корридор. Одновременно то же самое происходило и в 8-й башне под предводительством помощника начальника тюрьмы. Когда все были вытащены в корридор, начальник еще раз проверил списки. Оказалось, что т.т. Завадский, Обухов, Федоров и я в списках не значились. Нам четырем, как это выяснилось впоследствии, смертная казнь была заменена бессрочной каторгой на основании 57 ст., как несовершеннолетним. Товарищей наших увели на казнь, а нас опять заперли в 9-ю башню.

Я почувствовал, что теряю под ногами почву. Сердце сильно забилось, закружилась голова, и все вокруг завертелось... Когда я очнулся и бросился к окну—было уже поздно. Тюремный двор был пуст, и лишь шаги часового нарушали могильную тишину. До самого утра я метался из угла в угол, словно затравленный зверь, не находя себе места. Переживаний этой ночи я не забуду никогда.

И. СЛАВКИН.



Канун весны.*

(Из Бялика).

Уж не хочет ли природа
Нынче двойней разрешиться?—
То—зима, повеет стужей,
То весна в окно струится...
Встал с зарей. На стеклах—бельма,
Серебром покрыты крыши,
Но голубок белых стая
Поднимается все выше.
А косицы льда, как свечи,
Вдруг зажженныя лучами—
То ли с горя, толь от смеха—
Плачут светлыми слезами...
Загляну-ка в календарик...
Как, весна уже настала?
Чтобы так коза к раввину
В огороды не скакала!
Нет, весне, как будто, рано,
То—канун ея лучится,
Застегнись же поплотнее,
Коль не хочешь простудиться!
Но не слушаю советов,
И в расстегнутом капоте
Я бегу на божий праздник
Поплясать с лучем в болоте.
Я люблю канун весенний—
Полутемный, полускрытый,
Лоскутками тучек серых,
Золотым лучем обшитый.
Я люблю в нем даже ветер:
Пусть он в спину злобно дует,—
Тут же нежно мои щеки
Струйка зноя расцелует.
Как хорош клочек лазури,
Что вон там сквозит несмело,
Словно девушки невинной
Обнажившееся тело!
Как проворно вольный лучик
С тенью пляшет и играет!—
И смеюсь я, умиленный,
А на сердце что-то тает!..
Да, люблю я эту пляску
Тонкой, нежной светотени,—
Сколько милых в ней улыбок
И веселых откровений!
А природе, как невесте,
Перед сватами, неловко:
Обведет лучистым взглядом
И—потупится головка...
То светлеет, то темнеет,
Вот слились и свет, и тени—
Сколько милых здесь улыбок
И веселых откровений!
А река—с ея стенаньем,
Шумом-скрипом издалека?
Что-то там готово рухнуть,
Что-то треснуло глубоко.
Что-то там, внизу, грохочет...
Только миг—и все узнают,
Как проснувшиеся силы
Лед и сталь порой ломают.
Все подводныя теченья,
Словно в дружном уговоре—
Свои думы, свои силы
Устремят в одном напоре.
Разом, братья!—Сокрушите
Эту крышу ледяную,
Что закрыла, солнце, звезды
И лазурь от вас родную!
И тогда речныя волны,
Развернувшись на просторе,
С грозным ревом, под мостами,
Толпы льда погонят в море:
—«Убирайтесь, да подальше!»—
И, расколотых быками,
Жгучей розгой их проводят
И холодными шлепками...
Шлепать их возьмутся волны,
Розгу—луч им приготовит.
Запоют немыя рыбы,
Камень вдруг заславословит...
И широко, и далеко
Разольются эти воды,
И пошлют весне улыбку
Отвоеванной свободы!..

Е. Паславский.

---

* Евгеиий Алексаидрович Паславский—дважды отбывал каторгу, последннй раз в Алексаировск. центр. кат. тюрьме, где застала его и амиистия 1917 г. Умер в коице 1919 или в начале 1920 г. в Одессе от сыпиого тифа. Ои обладал не заурядиым поэтическнм талантом. Несколько его стихотвореиий помещены в литерат. сборн. „Звенья“, изд. в рукописиом виде политическими каторжанамн упомянутой А. Ц. К. Тюрьмы, в 16 г. и затем в 17 г., напечатанном в Москве. Прнводнмое здесь стихотворенне относится к тому же 16-му г. Не зная еврейского языка, он воспользовался подстрочным русским переводом этого стихотв. Бялика, сделаииым одним из его сотоварищей по камере (Х. Пестуиом). Читатели, зиающне оригинал Бялика, сумеют оценить перевод, сохраиивший форму, почти дословное содержание и поэтическое иастроеиие оргинала. Ред.

Киевская Лук'яновская каторжная тюрьма.

15/XI—1916 г.

Наконец-то я у себя в своей каморке. Поверка прошла. Мои «архангелы» отошли в дальний угол корридора, от скуки судачат. Волчек щелкает редко. Мои «каникулы» начались. Я так люблю это время. Дверь до шести часов утра не откроется, ни один гнус не появится. Желанная баюкающая тишина. Я наедине с собой...

Всегда я жду этого времени, как особого блага, но сегодня... сегодня мне сдавалось, я сойду с ума в ожидании этого часа. Сегодня мучительно прошел мой день. С утра уже я почувствовала себя во власти столь далекого и в то же время до физической боли близкого прошлого.

Пережитое десять лет назад охватило так цепко, с такой силой, что я с радостью сегодня выскочила из камеры, когда позвали на работу. Там, в сутолоке людей и машин, я трусливо надеялась спастись от воспоминаний, так грозно охвативших и мозг и душу. Напрасно! Целый день я была атакована ими. С каждым часом росло во мне все сильнее желание не бороться с нахлынувшим и отдаться ему всецело; не бежать от него, а итти ему навстречу. Чем рельефнее выступали события памятного дня, тем страстнее тянуло отдаться течению этих событий, потонуть в них. А тут люди, «архангелы», машины. Рвут на части, отрывают от дорогих образов, от всего с ними связанного. Утром еще я бежала спасаться в этот ад. Уже через час-два скрежетала зубами от жажды бежать от них в свою тихую келью, где смогу всласть отдаваться им, моим дорогим мертвецам.

Так прошел мучительно тянувшийся день. Пришел, наконец, желанный час моих «каникул». Я на едине с собой. Я принимаю гостей, дорогих, светлых. Я с ними вся. Час за часом я переживаю с ними последний день их жизни до момента их увоза, когда они сказали мне свое последнее прости; и даже дальше, там на плахе за минуту до того, как спустилась над ними рука палача.

Вот уже две недели со дня приговора. Меня на рассвете выпускают во двор тюрьмы. Со двора женского корпуса видны окна третьего этажа мужской тюрьмы. По условию с Борисом и Осипом на решетке их окна должно ви-

сеть полотенце—немой признак того, что обитатели камеры еще живы. На мой зов они выглянут, поздороваемся. Иногда обмениваешься мало значущими для администрации, но важными для нас, мыслями. Возвращаюсь в камеру на несколько часов успокоенная.

Так и в утро памятного дня, 15 ноября 1906 года. Стучу нетерпеливо в дверь. Надзирательница чего-то замешкалась, не открывает. Я волнуюсь. Чувствую, ко мне приближается, обнимает Шерочка. «Не волнуйся, Оля, пока я с тобой, они живы»,—говорит она спокойно, нежно. Оборачиваюсь, смотрю на нее удивленно, почти раздраженно. О чем она говорит? Что за нелепость? Правда, она вместе с Борисом и Осипом приговорена к казни. Но ни я, никто из заключенных, даже администрация не сомневалась в том, что казнь ей, как и всем женщинам до сих пор в Одесской тюрьме, будет отменена. Все были уверены в этом, кроме ее одной. В душе она была убеждена, что приговор над ней будет приведен в исполнение. Но она молчала до этого утра. На мои горячие возражения и доказательства нелепости такого ее убеждения, она с тихой лаской, спокойно улыбаясь, повторяла: «Ну и ладно, Оля, ты только не волнуйся, не горячись, мамуся родная».

Дверь, наконец, открыли. Я бегу во двор. Полотенце висит, Борис и Осип стоят у окна, ждут меня. Поздоровались. «Как себя чувствуете?» Кивают головами. Борис шутит бодро: «Чего и тебе желаем от господа бога». Надзирательница дергает; ухожу. Шерочка уже готовит завтрак нашему общему любимцу Лене. (Пять месяцев, как мне привезли моего сына с тем, чтобы после суда и окончательного приговора, отдать его обратно родным, на волю). Проснулся наш двухлетний баловень, и большая часть времени ушла на возню с ним. Пришли ко мне несколько товарок, вызвали из камеры на «тайное совещание». Секрет заключался в том, чтобы организовать праздник ко дню рождения Шерочки, который наступит в этом месяце. Праздинк предполагалось приурочить ко дню отмены смертного приговора. Ей должно было минуть 22 года. Товарищи хотели заказать цветы. Решили, что все будет зависеть от судьбы остальных двух: ни о каком празднике не может быть и речи, если Бориса и Осипа казнят.

Так мы едва дотянули до часа свидания. Свидания мы в этот раз ждали особенно нетерпеливо. Родственники должны были узнать: утвержден ли приговор и сообщить об этом нам. Свидания начались и кончились, а Шерочку, к которой должна была придти сестра, все не вызывают. После свидания—прогулка. Пошли мы все на прогулку, в надежде, что Борис имел свидание и нам что нибудь сообщит. Минут через 5—10 вызывают Шерочку в контору. Вся прогулка заволновалась, устремилась к ней. Она нетерпеливо отмахивается. «Не шумите, товарищи, не волнуйтесь, меня зовут на

свидание к сестре. Через час вернусь с новостями». И я не сомневалась, что зовут ее только на свидание. Ждем.

Через стену из мужского корпуса летит почта. Есть почта и мне: большой куст лилий, к которому привязано письмо. Значит, Борис был на свидании и уже вернулся с вестями и цветами. Товарищи разбрелись по двору: одни с письмами, другие переговаривались через стену с товарищами мужского корпуса. Я села на крылечке нашего корпуса и приступила к чтению. Читать хватит на долго. Письмо огромное, мелко исписанное. Оно писалось вчера ночью и утром перед свиданием. Сколько времени протекло за чтением письма, не знаю. Я была слишком поглощена содержанием его. От Бориса, за время этих двух последних недель, я получала часто письма, но всякий раз по новому письма его производили на меня впечатление силой и величием духа, которым они были проникнуты.

Я Бориса знала много лет. С ним я участвовала в двух террористических актах. С ним мы вели кружковую работу с рабочими в Одессе. С ним сиживали в тюрьмах. По одному делу с ним вместе освободились по амнистии 1905 года. Вместе по одному делу мы сели в последний раз. Я видала его молодым, бодрым, здоровым и видала его больным, с одиннадцатью ранами; видала его на костылях, потом в тюрьме; в удачах и неудачах, коих было немало за годы нашей совместной работы. Во всех перипетиях жизни и борьбы он оставался тем же страстным анархистом-революционером, активным борцом за правду и справедливость анархического идеала. Его горячо любили и уважали все единомышленники. Его уважали и ему удивлялись противники. «Он весь, словно соткан из лучей солнца»,—сказал о нем один старый соц.-дем.-большевик, побеседовав с ним несколько раз в 1905 году в Екатеринославе. Таков был Борис. Таким мы знали его много лет, и все же и для нас он стал по особому нов и велик со дня приговора, когда ему стало ясно, что физически он от жизни уходит. Говорю физически, ибо только физически он мыслил себя за рубиконом того, что называется жизнью. Духом он чувствовал себя живым, во веки животворящим и бессмертным, как бессмертна идея, которую носил в себе, за которую боролся и умирал.

Я невольно отвлеклась от событий того дня, когда передо мною живо, до физического ощущения, выплыл образ Бориса.

Итак, долго ли я читала письмо Бориса, не знаю. Помню лишь, что как только я его кончила, чего-то сразу затревожилась долгим отсутствием Шеруньки. Попросила старшую надзирательницу послать кого-нибудь в контору узнать, утвержден ли приговор. Надзирательница вернулась, ничего не узнав, сказала только, что свидание продолжается, и что на свидании и Борис с Осипом. Прошло еще с ½ часа. Нас уже гонят с прогулки. Шерочка

не возвращается. Тревожное настроение растет. С прогулки уйти никто не хочет. Убеждаю старшую лично пойти за сведениями. Напряженно ждем ее возвращения. Идет... Медленно двигается. Иду ей навстречу. Вижу, лицо все в красных пятнах. Поняла... «Утвержден?»—спрашиваю. Кивает утвердительно головой. «Всем трем?» Губы скривились, сказать ничего не может. Утвердительно кивает... Оборачиваюсь к товарищам, хочу им сообщить. Слышу, Ясинская (старшая надзирательница) сдавленным голосом что то силится сказать. Слушаю жадно. «Шерешевская просила, чтобы...» «Что?». Ясинская что то лепечет, упускается на крылечко, рыдает. Кругом стоят товарищи молча. Ясинская оправилась и докончила: «Шерешевская просила не шуметь и разойтись по камерам». Тактический прием. Понимаем. «А, почему Шерешевская не возвращается?» Приговор утвержден, но это еще не значит, что она не вернется. После утверждения приговора еще две недели казнь не производится и уже, во всяком случае, не днем. «Она задержалась с сестрой, скоро придет, идите по камерам пока». Никто не идет. Я заявляю, что буду здесь ждать Шеру. Стою. Еще несколько товарищей стоят возле. Вспоминаю, что Борис и Осип уже, верно, вернулись со свидания. Бегу к прачешной, откуда видно окно Бориса. Все окна уже освещены. В окне Бориса темно. Полотенце висит. Из всех сил зову Бориса и Осипа. У всех окон мужской тюрьмы стоят товарищи, молчат. Темное окно тоже молчит. Полотенце висит. Ясинская умоляет уйти. Зову... зову... Кто то догадался снять полотенце. Я поняла... Кончено...

Совершенно растерянная, иду куда-то с товарищами. Вдруг вспоминаю: свидание! Им обещали во всякое время, будь то днем или ночью, свидание со мной перед казнью. Бегу к Ясинской. Шлю ее в контору, сама бросаюсь в камеру за цианистым кали. Я знала, что Борис и Осип держали его всегда при себе *). В ящике тумбочки лежали у нас еще три порошка. Зажала в карман порошок. Жду. Ясинская возвращается с категорическим отказом: «Начальник ответил: «ни в каком случае»,—«разрешил только мальчика отнести к ним». Тут только вспоминаю, что Лени со мной нет. Где он? Бегаю по камерам. Нашла. Сидит на кровати в камере Веры Горвиц и льет на себя одеколон из флакона. Вера, взволнованная, бегает по камере. Несу его к Ясинской, лепечу ему какой-то вздор, кладу в карман передничка порошок. Его уносят. Через пять минут приносят обратно. Задаю ему какие то нелепые вопросы, получаю нелепые ответы. Порошек в карманчике. Спрашиваю Ясинскую, почему так скоро вернулись. Оказывается, Леню к смертникам

*) Впоследствии выяснилось, что порошок оказался только у одного Бориса. Осипа взяли с прогулки без шапки, в которой был зашит порошок. Поэтому и Борис не воспользовался ядом.

не пустили. Надзирательница стояла с мальчиком во дворе, против их окон, и через открытую форточку, на большом расстоянии, они с ним разговаривали. Сознание, что порошок остался, мучительно сверлит мозг. Зову Ясинскую, убеждаю ее отнести порошок. Она испугана, не соглашается, но после мучительно-долгих убеждений, согласилась. Возвращается с порошком. Никакого предлога, никакой возможности нет проникнуть к ним. Стучу в дверь, требую свидания. Категорический отказ. Швыряю с отчаянием порошок на стол. Кончено... .

Время идет. Леня требует внимания. Я его не могу ему дать. Хочу уложить его.

Вдруг дверь с треском открывается. Помощник Золотарев, Ясинская, еще кто-то, еще кто-то. «Собирайтесь на свидание!» Я мечусь по камере, как шальная. За каждым моим движением следят, не могу никак добраться до порошка, который попал под лампу. Меня торопят. Дальше тянуть нет возможности, вынуждена идти без порошка.

Шла я на свидание в таком истерзанном виде, в каком мои друзья меня никогда не знали. Только в тот момент я поняла, что гораздо, гораздо легче быть самому распятым, нежели провожать на распятие других. Так ясно, просто и радостно сознание смерти во имя идеи. Еще год тому назад на конспиративной квартире, в какой-то еврейский праздник хозяйка-еврейка угостила нас вишневкой. Кто-то спросил, за что пить. Один из присутствовавших предложил выпить за то, чтобы никто из нас не умер на своей постели. Все дружно чокнулись и выпили.

Вот прошел год. Один из нашей дружной семьи погиб во время вооруженного сопротивления. Неугомонный, непримиримый борец с собственностью и властью, анархист Гелинкер, после упорного сопротивления полиции, застрелился последним, оставшимся в револьвере, патроном.

Другой из нашей группы, известный анархист Нотка; прекрасный товарищ, организатор и пропагандист, мой «корешок» (сопроцессник) по варшавскому делу, гроза белостокских властей, погиб во время погрома. В 1906 году он организовал самооборону в бедных рабочих кварталах. Весь район бедняков и рабочих анархисты отстояли, но некоторые из них там и погибли, в их числе и Нотка был зверски истерзан полицией.

А вот сейчас иду провожать на плаху самых близких, горячо любимых товарищей и терзаюсь тем, что *не минует их чаша сия*. Большое противоречие настроению год тому назад умереть не на собственной постели. Но такому противоречию неизбежно, мне кажется, подвержены только те из революционеров, которые, по воле случая, попадают в положение хоронящих, а не хоронимых. Впрочем, не знаю, может быть, оно и не так всегда

и не со всеми. Возможно, что я оказалась слабее других. Знаю только, что так оно, а не иначе было со мной. Я была изранена душевно, я была истерзана предстоящим надругательством палача над друзьями, и если еще не плакала, то только потому, что тогда еще плакать не умела.

В таком состоянии я переступила порог смертников...

На этом месте обрываю. Чувствую с отчаянием, что не осилю, не передам того главного, что меня встретило там, на пороге смертников. Как рассказать? Как передать? Выражу ли я что-нибудь, если скажу, что встретили они меня на пороге тихо, тихо радостные, светло и ясно улыбающиеся; что лица их были озарены совсем особым, изнутри исходящим одухотворением у каждого по-своему. По новому звучали голоса, светились глаза. Верой, страстной верой в бессмертие великой идеи анархизма, звучали их речи.

«Мы не умираем, Оля. Мы живы и будем жить с вами, борцами за анархизм, в борьбе вашей тяжкой, в ваших победах и поражениях, в тюрьмах, на каторге и в смерти вашей. Всегда, во всем с вами до дня праздника торжества и победы нашей великой идеи анархизма»,—говорил Борис.

«Мы живы, Оля. Мы бессмертны, как бессмертна борьба за великие идеалы анархизма, за которые нас сейчас распинают»,—говорила Шерочка.

Опять обрываю. Сказала ли я что-нибудь. Передала ли я их хотя отчасти. Чувствую, что нет. Неудовлетворенное чувство не выполненного гнетет. Всякие попытки рассказать их с горечью, оставляю. Скажу только, что все пережитое мною в этот день, до этого свидания, как только переступила за порог к ним, показалось таким чужим, ненужным и далеким. Таким диссонансом грубым показалось все пережитое за минуту до этого в сравнении с тем большим и главным, что нашла у них.

Стон оборвался. Звук его замер за дверью....

Ушла от них другая, обновленная. С тех пор прошло десять лет. Много из наших рядов выбыло. Огромная часть казнена. Многие, как и я, на десятки лет разбросаны по разным российским каторгам. Пережито было много; многое из того, что было мной унесено из камеры дорогих моих смертников, в тяжкой и упорной борьбе поблекло и изгладилось. Кое-что новое обрела, но, главное, большое и светлое в них, незыблемость веры в торжество идеи анархизма и страстная, неугасимая жажда бороться за него осталась и здесь.

Опять отвлеклась.

Продолжаю.

Под'ехала карета смертников. Свидание кончилось. Прощаемся. Шера шепчет: «в тумбочке лежит письмо». Горячо обнимаемся в последний раз.

В камере у меня Вера Халфин. Леня не спит, нервничает. Уже 11 час. Укачиваю Леню. Он требует песенку. Пою... Перед моими глазами они, живые, теплые, радостные товарищи мои. Хочу следовать мысленно туда, к месту плахи, к тому, что над ними в этот самый момент чинят палачи,—не могу. Этого ни душа, ни мысли не принимают. Будто вижу на мгновение виселицу, веревку и их в страшном виде, колышущихся в воздухе, но видения эти мгновенны, не доходят до сознания, быстро уплывают и заволакиваются другими: камера, там на свидании я с ними—живыми, теплыми, тихо радостными. Леня нервничает, требует песню. Пою.... Уснул...

Спешу к ящику, нахожу письмо. Писалось письмо накануне вечером. Шерочка почему-то еще вчера ночью ждала, что их возьмут на казнь. В письме она прощается со мной и Леней. Письмо разделено на две части: первая половина посвящена Лене (которого она горячо любила) и заветам ему. Вторая часть посвящена мне...

С невыразимой болью вспоминаю сейчас о том, что письмо Шерочки и письмо Осипа, которое мне было передано начальником тюрьмы на утро, а также письмо раввина, получившееся на третий день после казни—затерялись. Как письмо Осипа, так, и, в особенности, письмо Шерочки имеют исключительную ценность не для меня одной. Помню еще то неотразимое впечатление, какое произвело письмо Шерочки на всех товарищей заключенных. Оно переходило из рук в руки. Больше всего поражал в нем страстный гимн жизни в самой ее смерти. Жизнь радостная и ликующая била из каждой строчки, из каждого слова. Читая письмо, я на мгновение забыла, что пульс ее уже перестал биться...

Мне почудилось, будто мы с ней на воле. Идем пробовать бомбу-динамитку. Ноябрь месяц. Раннее утро. Дул сильный ветер. Мы ходим у самого берега моря, ищем безопасного места для пробы, чтобы после взрыва нам легче было исчезнуть. Море бушует. Волны, одна за другой, с ревом и треском разбиваются о скалистый берег. Шерочка совершенно зачарована «взбесившимся» морем. С необычайной быстротой она взбирается на скалу. Ветер треплет платье во все стороны, волосы растрепались, руки протянуты к морю. «Го-го-го-го-го», — кричит она громко-радостно, «го-го-го-го-го». Волны, ударяясь о скалу, целым каскадом брызг обдают ее. Она раскрывает об'ятья. «Сюда, волнукша: Еще... Еще... Еще...

Бомба оказалась удачно сделана—хорошо взорвалась. Бежим, закутанные в платочки, обратно. Навстречу бежит испуганный городовик. Шерочка выкрикивает: «Беги, брат, скорее. Море взбесилось, бомбами плюется». Городовик приостановился, тупо поглядел и побежал дальше. Шерунька хохочет громко, весело, задорно.

Вот такой я чувствовала Шеруньку, когда читала ее письмо, писанное в ночь и час ожидания казни. В смерти во имя идеи она чувствовала красоту и творчество жизни. С глубокой верой в будущее анархизма она отдавала свою жизнь и жалела только о том, что обладает одной, а не многими жизнями, чтобы с победной гордостью понести их еще и еще раз на алтарь грядущей свободы.

«Еще, волнушка, еще»...

На утро меня вызвали в контору. Отдали платок Шеруньки, шапку и часы Бориса (на внутренней стороне крышки было нацарапано: «Прощай, Оля, живи и твори». Подписаны имена всех трех) и письмо Осипа, которое он успел написать уже после моего ухода.

Милый, славный наш Осип. Преданный самоотверженный товарищ, всегда готовый с врагами на бой кровавый, он в жизни был застенчив, кроток и скромен, как девочка. Мы звали его «Беленький», или «Тихий» Осип. В письме, прощаясь, он благодарил нас за совместную жизнь с нами, за общую борьбу, за все хорошее, что дала ему наша среда и даже за смерть, которую приемлет с гордостью.

16 ноября 1916 года.

На этом месте оборвалась моя рукопись. Писала почти до утра. Волчек все чаще и чаще стал щелкать. Прошел ночной дежурный по корпусу, о чем-то шептался с надзирательницей. Последняя, очевидно, докладывала о том, что я еще не ложилась. Мысль об обыске ножом полоснула по сердцу. Надо скорее прятать, или рвать, чтобы не досталась гадам. Пробовала рвать—не могу. Острою болью рвется что-то внутри. До утра продержала у себя. Позвали на работу. Унесла с собой. Сейчас я вновь одна после поверки. С трудом прочитала написанное. Я так разбита после вчерашнего «пира с друзьями». Шатаюсь, словно пьяная. В глазах рябит, руки дрожат. Слаба и беспомощна. Тяжело «похмелье». А, между тем, хочется довершить, неожиданно для самой себя, начатое. Хочется сказать еще несколько слов о том, что мне известно о последних минутах жизни моих друзей.

Через два-три дня после казни получилось письмо от раввина, присутствовавшего на месте казни. Начинает он свое письмо с об'яснения того, как он очутился там со смертниками. В 11 часов ночи приехали за ним, не говоря ему, куда его берут. Вся семья всполошилась. Полицеймейстер, кажется, стал их успокаивать, сказал, что берут его не надолго, для какого-то обряда. Раввин, испуганный и взволнованный, последовал за ними. Привезли его к Александровскому парку; оттуда пешком, кажется, они прошли во двор таможных чиновников. Там уже стояла карета смертников. Палачи об'яснили раввину, что привезли его для напутствия государственных преступ-

ников, подлежащих казни. С сжатым сердцем он подошел к карете. Дверь открылась, и из кареты вышло трое городовых. Раввину велели войти в карету. В паническом ужасе он туда вошел. Дверь закрылась. На удивленный вопрос смертников, что ему нужно, он об'яснил. Борис, от имени всех трех ответил, что духовник им не нужен и, как таковой, он может уйти немедленно, но как с человеком, если ему угодно, они побеседуют. Раввин выразил согласие. Четверть часа было в их распоряжении для беседы.

Как уже я раньше упомянула, письма Шеруньки, Осипа и раввина — затерялись. При всем желании мне вряд-ли удастся восстановить в целом содержание письма раввина *), а, между тем, оно исключительно ярко рисует настроение умирающих за идею борцов-великанов.

Попробую воспроизвести в памяти письмо раввина *):

«Беседу со мной вели все трое, но преимущественно говорила женщина. Затрудняюсь сказать, что говорил каждый из них в отдельности, но настроение их было одно: спокойное, бодрое, ясное. Они говорили, что у них есть своя вера, сильная и глубокая, основанная не на религии, а на учении об анархизме. Сущность ее: братство, равенство и свобода, не отдельно какой-нибудь нации, а всех народов, всего мира и каждой личности в отдельности.

Я не спорил с ними. Я слушал их, пораженный. В эти короткие четверть часа беседы с ними я сам мгновениями забывал о том, что со мной говорят люди обреченные, что рука палача простерта над ними и через несколько минут, секунд опустится над ними. Мне казалось, что я говорю с людьми, которые готовятся в дальний, но приятный путь, путь, на который они возлагают большие надежды и чаяния. Так оно, по существу, и было.

«Передайте друзьям и товарищам,—говорили они,—что мы умираем со спокойной и твердой верой, что наша смерть рождает жизнь. Сонмы молодых жизней! Они подымут выпавшее из наших рук знамя анархизма и будут продолжать нашу борьбу. Падут они в борьбе, их сменят другие для великой победы. День этот грядет. Это так же верно, как верно то, что, умирая, мы будем жить в сердцах всех борцов за подлинно-великую анархическую революцию».

Я был целиком захвачен беседой с ними. Я забыл о действительности, слушая их. Повелительный голос: «Выходите», громом меня поразил. Я вскочил. Меня вывели из кареты.

*) Много товарищей, сидевших в ту пору в Одесской тюрьме, читали письма Беленького, Шерешевской и раввина. Буду очень признательна, если они пополнят мои пробелы. *(О. Т.).*

В следующем дворике происходило приготовление к казни. Меня тряс панический озноб. Я попросил разрешения остаться здесь, в первом дворе. Мне разрешили, и, таким образом, я был избавлен от страшного зрелища насильственной смерти.

Первою из кареты взяли женщину. Спокойно и твердо она направилась во двор, где совершалась казнь. Что там происходило—не знаю, но через несколько минут оттуда выбежал околоточный надзиратель Панасюк *). Держась за голову, он воскликнул: «Нет, не могу. Понимаете, она еще говорит речь и прощается с солдатами».

Вторым взяли Бориса Меца. Он подошел ко мне, обнял, поцеловался со мной и, улыбаясь, сердечно сказал: «Зайт-гезунт». (Будьте здоровы)...

Ясность лица и спокойствие голоса потрясли меня.

Я едва стоял на ногах.

Пришли брать третьего. Только он один не шел добровольно. Забился в угол кареты и не хотел выходить. Его взяли силой...»

Прочла неожиданно вылившиеся воспоминания.

Я не задавалась никакими целями, когда их писала. Нахлынувшее минувшее давило силой, яркостью и непроизвольно вылилось на бумаге.

Впервые сегодня, после «похмелья», возникло желание сохранить написанное, как исторический документ.

Тем острее чувство неудовлетворенности от прочитанного.

Как беден оказался мой язык для увековеченья вашей памяти, светлые друзья мои.

В 1903 году Шерешевская-Вайсбрейм была исключена из 7-го класса Белостокской гимназии за подпольную анархическую работу в рабочих кружках. Ей тогда шел 19-й год.

Моисей (Борис) Мец рабочий столяр, 22-х лет, вступил в группу анархистов-коммунистов в 1903 году.

В начале 1904 года Шерешевская и Мец были арестованы в Одессе по делу анархистов-коммунистов. Через несколько месяцев освободились и вновь окунулись в работу.

Наступил столь богатый событиями 1905 год. После 9-го января работа

*) Пристав Панасюк был убит взрывом бомбы 7 мая 1907 г. в Одессе крестьянином Чирковым, членом боевой организации Южно-Русского Областного Комитета партии С.-Р.

Прим. Редакции.

стала особенно оживлена и интенсивна. Рабочие кружки разростались. Потребность в литературе, в листовках огромная. Нужно их писать, печатать, распространять. Нужно организовывать новые и вести работу со старыми кружками рабочих. Нужно держать связь с рабочими других городов. Работы по горло, а сил, как всегда, мало. Шерешевская и Мец в числе других работали до самозабвения. В конце февраля 1905 года Шерешевская и Мец были вновь арестованы в Одессе по делу анархистов-коммунистов. В июле мес. того же года за бунт политических в тюрьме, Шерешевская и Мец, в числе других 200 заключенных высылаются из Одесской тюрьмы по разным тюрьмам средней полосы России. Мец и Шерешевская попали в Орловскую тюрьму. Там их застигла революция, и откуда они были освобождены по манифесту 17 октября 1905 года.

22—23 октября Шерешевская и Мец освободились. В эту пору революция была уже убита царскими палачами. Разгул еврейских погромов и избиение интеллигенции был в разгаре. Рабочие десятками тысяч по всей России выброшены за борт, лишенные работы и обреченные с семьями на голодную смерть. Огромная часть передовых рабочих заключены по всем российским тюрьмам. Настроение подавленное, жуткое. Ко времени приезда Меца и Шерешевской в Белосток там ждали со дня на день погрома. Население было в панике. Белостокские анархисты, побывавшие в Варшаве, передают факты гнусного издевательства буржуазии и власти над побежденными рабочими. Указывают, между прочим, в Варшавской газете заметку, оповещавшую о готовившемся по какому-то случаю празднике буржуазии: пир назначен в роскошном кафе-ресторане «Бристоль». У анархистов-рабочих возникает план напомнить буржуазии, что праздновать победу на костях и крови замученных рабочих—рано, что на систему гнусного произвола и насилий власть имущих они вынуждены ответить систематическим террором. Трое анархистов рабочих: Мец, Нотка и Лялька решили первый крупный антибуржуазный террористический акт приурочить к празднеству буржуазии в кофейне «Бристоль». Шерешевская тоже участвует в этом акте. Приблизительно в первых числах ноября кафе-ресторан был взорван вместе с пирующими победителями. Акт удался; участникам, с помощью варшавских товарищей, удалось скрыться.

В первых числах декабря 1905 года Мец, Шерешевская и Осип Беленький, по тем же мотивам участвуют в аналогичном же террористическом акте, взорвав в Одессе кафе Либмана. Через 5 дней после взрыва участники акта были арестованы. По принципиальным мотивам они отказались, как от паказаний на допросах, так и от защитников на суде.

В виду отказа от дачи показаний следственные власти, составляя обвинительный акт, руководствовались внешними признаками арестованных: раненых отнесли к активным участникам акта, а нераненых к укрывателям «преступников». Приговор был заранее вынесен. Суд был простой формальностью. Так как Шерешевская, Мец и Бронштейн (Осип) были ранены, то их признали виновными в прямом участии и приговорили к смертной казни. Судил их военно-окружной суд 1-го ноября 1906 года.

В ночь на 15 ноября их казнили...

О. И. ТАРАТУТА.



Страничка из воспоминаний смертника.

С марта 1917 года, когда я в Александровске навсегда простился со стенами каторжной тюрьмы, прошло сравнительно немного лет, но лет—полных событиями, работой, борьбой—и пережитое до них отодвинулось в давнопрошедшее, стало не былью, а сном. Много кошмаров видел я в этом длительно-горестном сне. Об одном из самых страшных я хочу рассказать.

«...к смертной казни чрез повешение».—Во дворе военно-окружного суда нас окружили пешие и конные стражники. В их сопровождении мы—я и мой сопроцессник—двинулись к выходу. Был уже вечер. Мы шли по темным незнакомым улицам. Еще один поворот—и мы увидели мрачное здание, которое должно было нас поглотить и откуда, может быть, завтра нас вынесут мертвыми за город. По команде «стой!» мы остановились у ворот тюрьмы. Звеня своей связкой ключей, привратник открыл ворота. Появился дежурный помощник начальника тюрьмы. Узнав, что прибыли смертники, он скомандовал:

— Кандалы, наручники, обмундирование! Да что похуже, все равно скоро придется снимать...

Началась процедура переодевания и заковывания в кандалы.

— Быстрее, ставь ногу, чего смотришь! Вот так. Не бойсь, не убью, все равно осталось немного,—молот бьет по заклепке,—удар отдается в ноге, хочется крикнуть от боли. Заявляешь, что хомуток тесный, будет нажимать ногу, и—вместо ответа—удар еще сильнее, да уж не по кандалам, а прямо по ноге.

— Одевай и ступай в сторону. Следующий!

Конвойные по одному выходят из ворот.

— Айда за мной!—кричит дежурный помощник,—Смирнов, открой 27-ю и 28-ю одиночки. Прими, да смотри в оба—смертники!

Мы подымаемся по крутой лестнице, проходим один этаж, другой и, наконец, попадаем в темный корридор—далеко в углу горит лампочка. Быстро открывается дверь одиночной камеры—«заходи!», и сырой полусвет поглощает меня. Товарищ мой в соседней одиночке. Я остаюсь один, один—со своей тоской от причиненных уже и готовящихся еще унижений и обид. Тишина могильная. Взглядом останавливаясь на стенах, вижу ряд надписей,

читаю: «Здесь сидел Тарас Могильный, приговоренный к смертной казни»... Меня охватывает жуть. Ложусь на кровать—в эту ночь палачи еще не придут, приговор еще не вошел в «законную силу»—молодой организм берет свое и я, усталый от переживаний, засыпаю крепким сном.

Звонок на утреннюю поверку разбудил меня. День прошел в размышлении о том, что будет сегодня ночью. Мысль сосредоточилась на одном: вот придут, возьмут, поведут, оденут на шею петлю и тут же, у тебя на глазах поставят гроб, в который тебя положат.

Снова вечер. Косыми лучами солнце не надолго осветило обычно полутемную камеру. Скоро стемнело совсем и прошла ночная поверка. Еще тоскливее стало на душе. Начинаю перестукиваться через стенку с соседней камерой. Там сидят Пилипенки, отец и сын, приговоренные к смерти за убийство урядника. В средине разговора—с шумом и треском начали открывать дверь. Всколыхнулось сердце. Надо готовиться... Оказалось, что тюремщики вздумали потешиться. Слышу смех:

— А, испугался! Подожди, напугаешься еще не так!—звери радовались испугу своей жертвы. Ложусь снова, решив не спать до рассвета. Проходит час, два... Вдруг шум, звон оружия, топот ног и—чрез несколько секунд—крик в корридоре: «прощайте, товарищи!» И что-то еще крикнул товарищ, но разобрать нельзя было: придушили, не дали окончить. Несколько раз прозвенели кандалы—увели закованного по рукам и ногам на эшафот. И снова тихо; проходит полчаса, час—сегодня не придут уже больше. Но не спится. Возобновляю прерванную беседу с соседями, которые также не спят. Узнаю, что отец и сын Пилипенки состояли членами подпольной крестьянской организации с.-р. и что после неоднократных арестов и обысков, учиненных им сельским урядником, они решили его убить, что и привели в исполнение. Разговор отвлекал меня на время от моих мыслей. Я заинтересовался, хотел еще кое-о-чем распросить, но опять помешали...

Администрация наша проделывала над приговоренными к смертной казни и такие вещи: вызывают смертника в контору, об'являют ему, что смертная казнь ему заменена тюрьмой, снимают тут же, для большей убедительности, с него кандалы и ведут обратно в ту же камеру; и так—создав в приговоренном надежду на жизнь—вешают его в ту же ночь. На утро вызвали в контору крестьян Пилипенко, и начальник об'явил им, что—в виду того, что они слишком строго осуждены, что вина их не заслуживает такого тяжелого наказания,—смертная казнь им заменяется арестантскими ротами, и что скоро их отправят отсюда. Возвратившись в камеру, они сейчас же поделились со мною своей радостью. Но еще раньше мне передали, что сегодня вызван сюда палач, значит,—настал чей-то черед. Когда наступила

ночь, я решил, бодрствуя, ждать гостей. В эту ночь я больше чем когда-либо чувствовал приближение рокового часа... Повторилась история прошлой ночи: стук в двери—и снова забилось сердце и знакомый холодок пробежал по телу, а за дверью—тот же грубый хохот и слова:

— Ну, теперь он уже привык, можно будет брать...

Но в эту ночь (да и в последующие) они меня не брали, а набросились на блаженно спавших, уверенных в своей жизни, двух крестьян. Те сперва не разобрали, в чем дело, но, увидев себя окруженными со всех сторон вооруженной стражей, поняли все. Первым опомнился старик—и заговорил сразу изменившимся дрожащим голосом:

— Куди ж це ви хлопця ведете? Беріть мене старого раніш, а потім уже робіть з ним, що знаєте, щоб мої старі очи не бачили,—но молодой Пилипенко, желая скорее всему положить конец, быстро направился к выходу, крикнув:

— Прощавайте, тату, прощайте, товариші!

Чрез несколько минут повели и старика. На утро, когда я вышел на прогулку, около цейхгауза лежала одежда отца и сына Пилипенко.

Каждая ночь уносила с собою все новые жертвы, а я все ждал своей очереди. Я уже устал думать о смертной казни: тупое, гнетущее чувство навеки охватило меня—я застыл в состоянии ожидания. И прошло *сорок пять дней* этой муки, прежде чем настало то утро, в которое меня вызвали в контору, где и об'явили, что смертная казнь мне заменена 20-ю годами каторжных работ. Зная все те опыты, которые проделывали над нами, я не хотел верить в отмену приговора, но в этот же день я, вместе с другими приговоренными, был отправлен в другую тюрьму,—и начался для меня период скитаний, перехода из одной каторжной тюрьмы в другую, длившийся—одиннадцать лет—вплоть до 1917 года.

* * *

Описанное происходило в 1906 году в Полтавской тюрьме, где я, после приговора военно-окружного суда—за принадлежность к анархистам-коммунистам и вооруженное сопротивление при аресте—содержался.

М. ГОЛУБКОВ.



Кишиневский застенок.

I. Смена режима.

Кишиневская тюрьма, — огромное серое каменное здание, — расположена в конце города, на обширной Сенной площади. Со своими четырьмя пятиэтажными башнями она имеет вид крепости. Тюрьма стоит на горе и ее башни, вместе с высокой шестиэтажной водонапорной башней, господствуют над городом. Особенно выделяется центральная башня, с фасадом, обращенным к городу, с узкими продолговатыми окнами, из коих верхнее своей необычайной формой креста, привлекает внимание всех мимо проходящих.

Начальником тюрьмы был тогда казачий офицер Лежнев. С 1909 по 1910 г. его место занял прапорщик запаса Анатолий Тарновский. Последний был переведен в кишиневскую тюрьму из одесской. О нем заключенные сохранили самые лучшие воспоминания. Это был высоко культурный и гуманный человек. К заключенным, особенно к политическим, он относился весьма сердечно, чутко. Добрым и человечным был и его старший помощник Бебелло.

Камеры, в которых содержались политические, одно время до вечерней проверки вовсе не закрывались. Политические выговорили себе у администрации отдельное хранение своих книг, и, наряду с существованием общетюремной библиотеки, имелась отдельная библиотека у политических. Книги, передававшиеся в тюрьму, отправлялись на просмотр прокурору. Но потом администрация взяла этот просмотр на себя. Этим обстоятельством «политики» воспользовались, и в тюрьму проходили книги, содержание которых вовсе не соответствовало приклеенной обложке. Например, на книгу «Исторический материализм» наклеивалась обложка Чехова, и книга свободно проходила в тюрьму. Впоследствии, когда Обольянинов,—о чем ниже,—овладел тюрьмой, он пришел в неподдельный ужас от довольно солидной «крамольной библиотеки», находившейся в стенах тюрьмы.

Эти и иные «вольности» мозолили глаза кое-кому из администрации тюрьмы, и, дошедшие до слуха тогдашнего губернатора, вынудили его посетить тюрьму. Посещение произошло рано утром, в момент, когда только прозвонил звонок на утреннюю проверку, так что, обходя камеры, губернатор застал многих лежащими в койках. Когда губернатор вошел в корпус, адми-

нистрация поспешила разослать надзирателей по отделениям с предупреждением арестантам: вставать, прибрать камеры, выстроиться в ряд и на приветствие губернатора ответить: «здравия желаем, ваше превосходительство». Дежурным по нашему корридору был тогда тупоумный добряк, молдаванин Чоба, обремененный большой семьей и еле сводивший концы с концами на месячное 12-рублевое жалованье. Он, конечно, никогда не отказывался от преподношений с нашей стороны — хлеба и даже денег, платя нам за это преданностью и вниманием и такими услугами, как доставка наших писем по городским адресам и проч. Будить же нас по утрам, «беспокоить добрых людей», даже после утреннего звонка, ему вовсе не хотелось.

Звон ключей, стук закрываемых и открываемых дверей, команда: «смирно», и губернатор, тучный, в сопровождении большой свиты, тяжело дыша, перешагнул порог нашей камеры. Рядом с ним предстала перед нами маленькая, немолодая женщина, «попечительница» тюрьмы, жена помещика Синадино, с большим любопытством рассматривавшая нас через лорнет.

— Здравствуйте,—процедил сквозь зубы губернатор, бегло бросив взгляд на обстановку нашей камеры.

— Здравствуйте,—тихо ответили мы.

Губернатор остановил свой взор на пуховых подушках, на одеялах не казенного образца и спросил:

— Это казенное?

— Собственное,—ответили мы.

— Мм...да...да...—и губернатор вышел.

Посещение губернатором тюрьмы в такой ранний час породило много толков среди заключенных всех категорий. Прошло несколько дней, обычный порядок в тюрьме не нарушался. Как-то раз, посетив женский корпус, начальник Тарновский в беседе с женщинами-политическими сказал им:

— Ухожу я от вас, губернатор мною недоволен за слабый режим. Может, когда несправедлив был — не поминайте лихом.

Весть, что Тарновский уходит—быстро распространилась по тюрьме. Одновременно с нею стало известно, что арестанты Зильберг и Спыну, желая насолить всем арестантам, письменно сообщили губернатору о «вольнице в тюрьме», чем и вызвали его посещение.

Зильберг был осужден на 4 года каторги за то, что, будучи помощником пристава кишиневской полиции, имел слабость получать помесячный «гонорар» от «преступного элемента», подлежащего аресту, надзору и прочим мерам предупреждения преступлений, оставшегося за то на свободе. Провокатор Спыну, как принадлежавший к партии эс-эров, был осужден на год в крепость.

Тарновский уехал. Временным начальником остался помощник начальника Бебелло. Режим в тюрьме все еще оставался без изменения, Бебелло его не ухудшал.

Кажется, осенью 1910 г., во время прогулки нашего отделения, во двор тюрьмы вошло начальство в сопровождении надзирателей, Бебелло, помощника Лапшинского и других. Начальство, не оглядываясь и не здороваясь с заключенными, направилось прямо в церковь, где в это время тюремный священник Макар служил обедню. Маленького роста, худой, с длинным лицом и козлинной бородкой—был инспектор Майдачевский. Высокий, тучный, с бычачьей шеей, еле передвигавший ноги от тяжести тела—был наш новый начальник Обольянинов, прибывший к нам из гродненской тюрьмы с целой свитой тюремщиков, среди которых особенно выдделялся старший—Медников. Наша прогулка продолжалась. Из церкви начальство направилось к выходу. По дороге Лапшинский с азартом, размахивая руками, о чем-то говорил, обращаясь то к Обольянинову, то к Майдачевскому. Оба одобрительно качали головами. Ушли. Не успели запахнуться за ними ворота главного корпуса, как Лапшинский вернулся во двор, позвал дежурного и распорядился окончить прогулку. Мы по привычке стали медленно, не торопясь, заходить в корридор.

— Марш скорей по камерам! — услыхали мы грубый окрик Лапшинского и приказ:

— На сегодня всякую прогулку прекратить!

Грубые окрики до сей поры тюрьма слыхала редко. Настал вечер. Из кухни, из мастерских, из бани начали торопить и гнать арестантов по камерам. В обращении надзирателей произошла резкая перемена к худшему.

В первый же день прибытия Обольянинов собрал всех надзирателей и прочел им инструкции, как они должны держаться перед арестантами, и об'яснил им, что привиллегий никому не должно быть, в том числе и политическим, что в тюрьме есть только преступники против мирных жителей и против царя.

— А поэтому, — закончил он свои поучения надзирателям, — прижать нужно всех, да так, чтобы кости трещали. А если ослушаются, доложить Медникову. Помните, что сегодня вы охрана, а завтра вас будут охранять, если нарушите дисциплину.

Наш Чоба все же нарушил дисциплину, рассказал нам все, происшедшее на собрании надзирателей.

По старой памяти кое-кто затянул песню, другие подхватили. Забегали по корридорам надзирателя, нервно стуча в дверь камеры, откуда раздавалось пение.

— Тихо! Замолчать! Новый начальник приказывает не петь! — в голосе надзирателей чувствовалась злоба и готовность «распоясаться».

Утро. Частый звонок на проверку.

Проходит час, другой — не идут. Что это значит? Шаги команды, вошедшей во двор, давно были слышны. Оказалось, что одновременно с утренней проверкой шел в камерах тщательный обыск при участии вызванной из города конвойной команды. Проверялись кандалы и малейшее подозрение на слабость заковки — следовала перековка в «браслеты», т. е. в более тугие кандалы. Вместе с обыском был учинен формальный погром, снимали и срывали собственное белье, забирали собственные одеяла, подушки, металлические миски, вилки — все без разбору, забирали книги. При этом всех арестантов выгоняли в корридор, и надзирателя с помощью конвоиров и под руководством Медникова ломали посуду, отбирали все «лишнее» вплоть до носовых платков и собственных полотенец, высыпая на голый пол: чай, сахар, соль, порой умышленно сваливая все в кучу.

Тут же сортировали и арестантов, как уголовных, так и политических: не пуская обратно в свою камеру, заглядывая в список, Медников вызывал «подозрительных»:

— Стань здесь! Не поварачивай головы! Стой лицом к стене!

В первое же утро все шесть темных карцеров, предназначенных для шестерых, имели в своих стенах до 50 человек.

Надзиратели переменили свои отношения к заключенным, словно кто вырвал у них прежнюю душу, вложив новую, более жестокую. Даже Чоба стал неузнаваем. Отборная площадная ругань стала с этого времени обычной в обращении с арестантами.

«Утренняя проверка» и вместе с ней погром закончился к 2 часам дня. «Из'ятые» из камеры тут же в корридоре распределялись по другим отделениям и камерам.

На третий день вызвали всех арестантов во двор корпуса. Выстроили по отделениям, за спинами которых стала вся тюремная стража.

— Смирно!—раздалась команда Медникова. Открылись ворота, и мы имели возможность второй раз лицезреть Обольянинова. Вошел он с Лапшинским.

— Здорово!—обратился он к арестантам.

— Здравия желаем, ваше скородие,—ответили заключенные, многие из которых просто шевелили губами.

— Ну, вот,—начал Обольянинов,—я ваш начальник, а вы мои арестанты. Есть заявления? (Молчание). Нет! Значит, все хорошо. Я буду требовать порядок. Кто будет себя вести хорошо, того я раскую и вообще льготы дам, а

кто забудет, что он арестант, да еще каторжник, тот будет об этом долго помнить. Забыть надо, что было до сих пор. Наказывать буду всех: карцером, одиночкой и еще одно средство у меня есть — розги. А знаете, что такое розги?

На утро последовало распоряжение: на день выставлять в корридор койки, а матрацы, одеяла и подушки выносить в угол корридора, где и складывать их в общую кучу, «чтобы не разводить в камерах клопов».

Избавляло или не избавляло нас от клопов это гигиеническое мероприятие Обольянинова, неизвестно, а размножению вшей оно, во всяком случае, весьма способствовало, потому, что выбирать из общей кучи свое—дежурные не допускали. Тюрьма овшивела и опаршивела.

Тюрьма овшивела и опаршивела.

Новый «порядок» «налаживался» дней десять, после которых нам, наконец, дана была «прогулка». В корридоре нужно было строиться по два в ряд и обязательно со своими сокамерниками, во избежание переговоров с арестантами, живущими в других камерах. Медников прочел нам порядок «ловления воздуха»,—как впоследствии была названа арестантами прогулка.

Один окрик сменялся другим.

— Замри! Кто разговаривает? Ни духу!

— Ходить в круг! Раз, два, раз, два. Не поварачивай головы! Эй, ты, из пятого ряда, выходи сюда! И ты, из двенадцатого, ко мне!

Ничего не подозревая, арестанты выходят и становятся на указанное Медниковым место. Не прошло и десяти минут «ловления воздуха»—и прогулка окончена. Вызванные из рядов двое арестантов были прямо со двора отправлены в карцер. Понятно, что у многих вовсе отпадала охота «прогуливаться», и когда открывалась дверь и раздавалась команда «на прогулку», многие отказывались выходить.

— Выходи! Раз предписано дать тебе воздуха, так выходи для воздуха,— кричит Медников, пересыпая слова приказания площадной руганью.

Наряду с Медниковым свирепствовал и Лапшинский. Его дежурство было через каждые три дня, и если случалось, что в карцере нет «полного комплекта», как он выражался, т. е. если цифра сидящих в карцере не равнялась 60 (по 10 человек в одном карцере), то Лапшинский на своем дежурстве эту цифру дополнял. Удобным предлогом для этого являлось, между прочим, то обстоятельство, что многие все еще не хотели на начальническое приветствие «здорово!» отвечать «здравия желаем», и только шевелили губами в момент, когда камера по-солдатски отвечала. На проверках, появляясь в камеру, Лапшинский смотрел в рот каждому, особенно из «подозрительных».

— У... не отвечает! В карцер!

II. Тюрьма в тюрьме.

Мы спустились в подвал карцеров. Меня обдало сыростью и страшной вонью от полных параш с нечистотами. Щелкнул замок, надзиратель открыл тяжелую дверь среднего карцера, и я вошел. Я успел уловить написанные на дверях карцеров цифры—10, 8 и 10. Меня впустили в средний с цифрой 8. Со мной стало уже 9. Первые минуты были ужасны. Ударившие в нос ядовитые испарения грязных человеческих тел, нечистот, кислого хлеба и сырости на несколько минут затмили сознание.

В карцере было темно не только ночью, но и днем. Размеры его: семь шагов длины и 2 шага ширины. В двери—маленькое отверстие.

Помещенные 8—10 человек только и могли либо сидеть один около другого, либо стоять. Ходить же негде было. Меблировки—никакой, если не считать параши для естественных нужд. Стены, потолок, пол — асфальтовые. Пища: хлеб и вода в чайнике. Нередки были случаи, когда умышленно не давали воды по 2—3 дня. Карцерник, наевшись кислого хлеба, изнывал от жажды. Когда же, наконец, удавалось допроситься воды, иные из тюремщиков наливали чайник из ведра так, что излишек переливался на пол. Этим приемом они лишали нас возможности даже присесть на пол.

Для сидящих в карцере прибытие каждого нового лица — целое событие и порождает ряд вопросов, ответов и предположений. Краткой перекличкой мы узнаем друг друга, кто за что в карцере сидит.

От отравленного воздуха задыхались. Трудно было открыть глаза. Когда уставали все члены тела и клонило ко сну—карцерники «ложились спать»: клали друг другу голову на ноги, стараясь не лечь на обруч кандалов (если сосед был закован), и, таким образом, можно сказать, спали, или дремали. Время в этой могиле тянулось страшно медленно. Дни и ночи обитатели темных карцеров узнавали по утренним и вечерним проверкам или от новых, прибывавших в карцер. И так сидели по трое, по семь, по десять и пятнадцать суток.

С каждым днем становилось все тяжелее сидеть, чувствовалось, что замирает сердце, дышать было нечем. И когда надзиратель открывал дверь для передачи хлеба, впуска нового карцерника—мы приближались к дверям, стараясь сильнее вдохнуть воздух, идущий из подвального круга, который нам, после духоты карцера, казался необыкновенно чистым и свежим. Но газы из карцера не скоро испарялись, дверь же открывалась на 2—3 минуты и снова захлопывалась.—Грубый оклик дежурного:

— На хлеб!

Брали хлеб. Куда его деть? Клали его в углу, на полу карцера в противоположной от параши стороне.

Беседовавшие между собой карцерники в первые дни сидения еще говорили нормально, но в последующие — силы оставляли многих, и некоторые дошли до такого состояния, когда едва выговаривали отдельные слова.

В соседнем карцере было еще хуже. Там, очевидно, духота дошла до апогея. Люди агонизировали.

— Сколько вас? спросили мы.

— Д-е-с-я-т-ь — отвечают слабые растянутые голоса.

Затем последовал слабый стук в дверь и голоса:

— З-а-д-ы-х-а-е-м-с-я...

— С-т-у-ч-и-т-е...

— У-м-и-р-а-е-м...

Голова кружилась. Многие из нас предпочли бы смерть, немедленную смерть—таким физическим пыткам. И мы решаем: в момент, когда откроется дверь карцера—для чего бы она ни открылась—кто в силах, выбегает в круг на ногах, обессиливших мы вытаскиваем, или они сами выползают в круг. Хоть несколько минут подышем воздухом. А что будет дальше, в рассуждение не входим. О таком решении нашем даем знать соседним карцерам:

— Дверь откроется, мы выползем в круг. Обратно не пойдем.

Мы слышали ответ:

— М-ы т-о-ж-е. Т-о-о-ж-е.

Кое кого тошнило. Начались рвоты, заразившие чуть-ли не всех остальных. Нас точно посадили в только что опорожненную ассенизационную и закупоренную наглухо бочку. Стоны отравленных газами не прекращались.

Мы не слыхали даже, как команда вошла в круг. Быстро одна за другой открылись двери, надзиратель поднял высоко над головами маленькую керосиновую лампочку, свет которой нам казался ослепительно-солнечным.

В атмосфере карцера—лампа потухла. Команда отступила назад от дверей.

— М... м... м... м...—мыча, карцерники выползли в круг. Легли. Команда отступила еще назад. Появилась еще одна горящая лампа.

— Стреляйте, убейте,—обратно не пойдем.

И выползшие—вдыхали свежий воздух полной грудью.

— Прикидываются! Знаю их! Заходи в карцер!—кричал Медников.

— Не пойдем. Дышать нечем. Тут будем лежать.

— Смирно! Встать!

Но никто не вставал. Появился Обольянинов. Перешагнув порог круга, выпучив живот, он стал, выхватил носовой платок, и начал громко сморкаться.

— Что? Надоел карцер?

Обойдя лежащих, он счел своим начальствующим долгом каждого ударить сапогом.

— Симулянты! Я вас раскушу! Позвать фельдшера!

Побежали за фельдшером. До его прихода Обольянинов читал «лекцию»:

— Я вас, сукиных сынов, предупредил, что у меня будет сладко тому, кто послушен будет, а горько и горе тому, кто забывает, что он в тюрьме.

Появился фельдшер. Пощупав кое у кого пульс, и приложив нашатырю к носам лежащих в забытьи, он что-то деловито давал понять Обольянинову.

— Медников! Оставайся здесь и с ним (указал на фельдшера) сортируй, кого куда,—распорядился он, обильно уснащая свое приказание площадной руганью.

Повернув свое тучное тело, чихая и сморкаясь, он вышел из круга.

Фельдшер был порядочным человеком и с режимом Обольянинова, конечно, совершенно не был согласен, но был бессилен его изменить.

Он осмотрел каждого в отдельности и занес в список—с отметкой, кого куда. Некоторых он велел отправить в камеру, других в больницу. Среди сидевших в карцерах я припоминаю: И. Эпельмана *), А. Кициса, Миронова, Корнфельда, Лобунчика, Лысинского и др.

III. На женском корпусе.

Новый режим не миновал и женского отделения. Все, что было собственного, вплоть до лифов и панталон, сваливалось в общую кучу и выносилось в цейхгауз. Вместо всего забранного—арестанткам выдавалось: рубаха, юбка и головной платок. Точно также были из'яты и деревянные койки; матрацы лежали прямо на полу.

Обольянинов, редко посещая мужской корпус, женский удостаивал своим вниманием довольно часто. Отбирая себе служанок, он явился в женское отделение, выстроил всех, оглядывая каждую сверху до низу—сцена напоминала «смотр невест».

— Ты у меня будешь уборщицей. Ты—прачкой, а ты за коровой смотреть будешь.

— Я никогда коров не доила—отказывается арестантка.

— Не доила? А тебя уже доили?

*) И. Эпельман, рабочий-портной, пострадал особенно сильно. Широкоплечий, на вид здоровый и крепкий, он, по выходе из карцера, заболел туберкулезом легких, ревматизмом и астмой. И после каторги, в ссылке, с ним случались частые припадки. Карцер превратил его в инвалида. В 1917 г., после амнистии, проболев еще некоторое время—он умер.

Арестантка возмущена, краснеет. На глазах слезы. Опустив голову, она молчит.

— Я пойду корову доить,—вызывается охотница.

— Ты с «прибавлением» (сифилисом), ко мне не ходи.

Заложив руки в карманы, выпучив живот, он кричал:

— Ну, кто за коровницу пойдет?

Все молчат.

— Так я же вас всех в коров превращу!

Подходит ближе к арестанткам, грубо кладет руки на плечо одной, другой, третьей:

— Ты за свиньями смотреть будешь. Отказываться от работы? Я вас сотру с лица земли, паскудницы!

Несколько поодаль стоит политическая каторжанка А. Сакова. Обольянинов подходит к ней.

— Ты чего голову повесила?

Молчание.

— Подними голову! — Обольянинов трогает ее подбородок своими руками.

— Оставьте меня в покое! Не трогайте меня!—истерически кричит она.

— Когда перед тобой стоит начальник, ты должна ему смотреть прямо в глаза и улыбаться. Поняла?

— Уйдите от меня!

— Не покоряешься? Ничего, ты у меня будешь шелковой, как все. Я тебя научу, как смотреть на начальника.

Обращаясь к надзирательнице, он приказывает:

— На прогулку ее не пускать. На месяц свидания лишить. Переписку с родными прекратить.

— Я вас всех, б... выдресирую!

Погрозив кулаком, он вышел.

После вечерней проверки заставляли всех женщин становиться против висевшей в углу камеры иконы и петь молитвы «отче наш» и «спаси господи». В тот же день отбора служанок, не успела окончиться молитва, как Лапшинский ворвался в камеру, подбежал к политической каторжанке с криком:

— Политика! Молитву не поешь — а? что?

— Я не обязана петь молитву. Это дело совести, меня пение молитвы совершенно не касается.

— Не касается? Коснется! На начальника не смотришь, молитву не поешь! В карцер!

Надзирателя, схватив Сакову за руки, пробовали тащить в карцер.

— Сама пойду. Не смейте меня трогать! Не ручаюсь за себя!

Трое надзирателей, окружив свою жертву, проводили ее в карцер. Открылась двер. Она вошла. Ни зги: совершенно темная, без окон, мертвецкая. Сделав 2 шага вперед, она наткнулась на лежащее тело. Полагая, что в карцере еще кто-то есть, она спросила:

— Кто еще в карцере?

Молчание.

— Кто со мной?—громче спросила Сакова.

Молчание. Она подумала, что сидящая в карцере арестантка крепко спит, и решила ее разбудить, дабы не так жутко было сидеть одной. Подошла ближе, нагнулась, руками нащупала ноги, штаны. «Что это?» Повела рукой дальше к лицу: борода!

С криком, не помня себя, Сакова бросилась прочь от лежащего трупа. Ударилась головой о стену, разбила себе лоб.

Она провела кошмарную ночь. Ей все время казалось, что труп встает и направляется к ней. Забившись в угол, она опустила голову на колени, силясь думать о другом. Закрыв рукавом окровавленный лоб, изнервничавшаяся, разбитая физически и морально, она тяжело вздремнула *).

Наступило утро. Одновременно с происходившей проверкой под'ехала к карцеру подвода. Открылась дверь карцера, и надзиратели, явившиеся за трупом, не предупрежденные, очевидно, о том, что вместе с трупом есть там и живой человек, увидев неподвижно сидящую в углу фигуру, испуганные отскочили назад.

— Там... там... ваше скородие...

— Что там? Бери мертвого, а живую оставь!

Когда брали мертвеца, она успела его рассмотреть. Это был Иосиф Дудик (Юзька), умерший от скоротечной чахотки. Вошел Лапшинский:

— Ну, как ноченьку провела с Дудиком?

— Пришлите фельдшера перевязку сделать.

— Разве Дудик царапался. Ха-ха. Даже мертвый он себя героем показал. Здорово!

Часов через пять снова открылась дверь. Вошел Обольянинов:

— Ну, как самочувствие? Не нравится у меня? А чего у тебя кровь на лице? Дудик был любезен? Я его за это!..

Издали показались носилки с двумя трупами.

— Опять?—мелькнула мысль.

— Если с одним не справилась, то с двумя тем паче. Вот несут двух. Ви-

*) Из воспоминаний о каторге А. Саковой.

дишь? Иди в камеру Но в другой раз соберу десяток мертвецов и на них тебя положу и привяжу...

Сакова отправилась в камеру. За ней шла надзирательница и Обольянинов. Появившись на дверях, надзирательница крикнула:

— Встать! смирно!

Арестантки встали. Обольянинов, обходя «фронт», избирал более полных женщин и шилом укалывал в место ниже спины.

— Ух!—кричали арестантки, дрожа всем телом. Проститутки хохотали, вместе с ними широко улыбался Обольянинов. Надзирательница также снисходительно улыбалась: «пусть, мол, дядя побалуется».

— Ну-с, спросите-ка ее—указывал он на севшую в угол Сакову—как хорошо она с мертвецом ночь провела?

Арестантки вылупили глаза.

— Так знайте же—закричал он—сукины дочки, что всех непокорных буду сажать в мертвецкую ночевать с мертвецами. Строить новых карцеров для вас не буду. Помните и зарубите себе это на носу, как Сакова зарубила на лбу.

Обольянинов вышел. В камере воцарилась гробовая тишина. Известие о сидении вместе с мертвецом угнетающе подействовало на весь женский корпус. Многие арестантки до того изнервничались, что походили на психически ненормальных.

Таков был режим в женском корпусе.

IV. Конец Обольянинова.

Ужасы, царившие при Обольянинове, не могли не стать известными (в отрывках) на воле, чему еще содействовал и палочный режим по отношению к некоторым служащим тюрьмы, отказывавшихся полностью применять Обольяниновские методы воздействия на заключенных. Такими протестантами и довольно ярыми, ставшими в опозицию Обольянинову, оказались: помощник Бебелло, фельдшер (Михаил Иванович, как мы его называли) и поп Макар. Михаил Иванович, в результате, был уволен—с отметкой в документах—«за нерадение по службе».

Собрав все материалы о преступных действиях Обольянинова и К°, он их опубликовал на страницах либеральной газеты «Бессарабская Жизнь» под заголовком «За кулисами». Это нам стало известно через добродушного и безвольного молодого помощника—Мухина, искренно ненавидевшего Обольянинова. Обитатели тюрьмы плохо верили в успех разоблачительной статьи. Но вот, одна за другой открылись двери и все арестанты были выведены во

двор. Все смотрели в сторону ворот, ведущих в корпус, откуда должно было войти начальство. «Смирно»!—крикнул сам Обольянинов. Вошло «начальство»: низенький старичек, бритый, в очках—вице-губернатор; высокий, жирный—прокурор Смоленский; старик—следователь Давидович, два чиновника из губернского управления и еще какие-то, в гражданских костюмах, лица. За ними свита: Лапшинский, Медников, Бебелло и группа надзирателей тюрьмы.

Обходя ряды, вице-губернатор останавливался около некоторых арестантов, велел растегивать бушлаты, смотрел на белье и т. д. Оставив нас во дворе, он направился в карцер, потом обошел некоторые корридоры, снова вернулся к нам, и, бросив последний взгляд на выстроенных арестантов, вышел. По тюрьме распространились слухи, что при обыске у Обольянинова, на чердаке его квартиры, найдено несколько сот аршин полотна, предназначенного для белья арестантам...

Обольянинов был отстранен от должности и оставлен под домашним арестом. Его заместителем был назначен пом. Бебелло. Режим был несколько смягчен.—Позже, в 1912 году, находясь в Николаевской каторжной тюрьме, мы от прибывших из Кишинева каторжан узнали, что Обольянинов был отправлен в Одесскую тюрьму, где и умер от разрыва сердца.

V. В дорогу.

Весною 1912 года началась усиленная отправка каторжан в Сибирские и Российские каторжные тюрьмы: Орел, Херсон, Харьков, Николаев, Смоленск, Псков и т. д. До момента принятия партии каторжан конвойной командой ни один не знал, когда и куда он будет назначен.

Дошла очередь и до меня. Утомительная процедура приемки партии тянулась долго: каждого опрашивали, чтобы удостоверить его личность; проверялось, в целости-ли казенные вещи, числящиеся за ним: бушлат, подкандальники, рубаха и пр. Наконец, все готово.

— Партия, слушай!—об'являет начальник конвоя,—ходить в ногу и в ряд с конвоирами; не растягиваться, не разговаривать в пути, головы не поворачивать. При попытке к побегу будет пущено в ход огнестрельное оружие!

— Факельщики, на места!

Ночь была темная; с четырех сторон партии зажгли четыре больших факела.

Открылись ворота, мы вышли. За воротами нас ждал отряд верховых стражников. Быстро вскочив на коней, верховые окружили нас кольцом.

Я шел, погруженный в свои мысли: о семье, о друзьях и о том, что я, быть может, в последний раз прохожу по улицам родного города. И вдруг,

ясно, отчетливо я расслышал с тротуара голос матери, отчетливо и громко называвшей мое имя. Каким-то образом она узнала о моей отправке и—«провожает». Кем-то также отчетливо с тротуара выкрикивались имена и других шедших в нашей партии.

Мы на вокзале. Конвоиры подводят нас к арестантскому вагону.

Побрякивая цепями, арестанты входят в вагон, занимая места по указанию конвоиров. Мимо окон вагона мелькают фигуры посторонних и родных. Собравшуюся толпу конвой гоняет прочь от вагона. Я вижу через решетчатое окно плачущую мать. Она умоляюще просит конвоира разрешить подойти ближе к окну и, быть может, последний раз взглянуть на меня. К нашему удивлению—конвой разрешает. Старушка прильнула к окну, плачет, обливаясь слезами:—Куда тебя отправляют?

— В Николаев!—кричу я в окно. Подбежали друзья, принесли продукты. Конвой отказывается принять. Мольбы, просьбы, слезы. Продукты переданы. Второй звонок. Конвоиры снялись с наружных постов, вошли в вагоны, закрыв на-глухо за собой дверь. Родные, друзья и просто любопытные—прильнули к окнам вагона. Третий звонок. Свист кондуктора, гудок паровоза, прощальные выкрики родных и друзей. Слезы, слезы, слезы...

— Сын мой, крепись! Пиши! Будь здоров!

Поезд тронулся. Родные и друзья бегут за вагоном. Еще секунда, и никого не видно. Мелькают заборы, вагоны, мастерские, фонари, стрелки.

— Отойди от окна!—крикнул конвоир.

— Без разговоров!—Ложись спать!

Поезд мчался, точно догоняя кого-то. От пережитых впечатлений отяжелела голова: «проводы» и встреча, вид городских улиц, шумный вокзал—и это после трех лет однообразия тюрьмы.

Поезд тащил нас в новые места, новые тюрьмы, на новые испытания.

С. УШЕРОВИЧ.



Из дневника революционера.

I.

Беда миновала.

(1904 г.).

Было прекрасное осеннее утро. «Долина смерти», освещенная золотистими лучами восходящего солнца, спокойно дремала под покрывалом желтеющей листвы. У лесной тропинки, шагах в двадцати от «Долины смерти», стоял какой-то бледный юноша. В одной руке он держал можевеловую палку, в другой—один из новейших номеров латышской газеты «Петэрбургас Авизес». Его взор с нетерпеливой нервностью обращался на каждого проходящего по ближайшей дороге: не враг ли он? Юноша кого то ждал...

Вдруг, на дороге показались двое молодых людей, одетых по форме железнодорожных телеграфистов. Они свернули с дороги и, по тропинке приближаясь к читающему газету юноше, произнесли:

— Возможна ли в России политическая свобода?

Юноша, сделав газетой еле заметное движение, как будто бы разгоняя тяжелую мысль, ответил:

— Да, но лишь с помощью нагана!

Так по тропинке прошло двадцать семь разных юношей — с первого взгляда—случайно разгуливающая молодежь уездного города Туккума. Но вот, на тропинке появилась женщина! Это была всем известная «Мильда». При ее появлении снялся со своего поста и читающий газету «Виктор». Он последовал за остальными.

Среди болотистой, лесной гущи, как на острове, уселись двадцать девять почти незнающих друг друга людей. Но мысль у всех была одна. Грызущая. Ведь, в городе происходит призыв! Через двое суток во что бы то ни стало нужно выпустить воззвания, а гектографа нет. Говорилось мало, но собравшиеся и так понимали друг друга. Без слов. Только по двадцати копеек с каждого, и—в шляпе тов. Путниня оказалось 5 рублей 80 коп.

Беда миновала. И на другой день туккумские городовые в поте лица искали по городу распространителей прокламаций — неуловимых социал-демократов.

II.

Скоро раздастся сигнал!

(1905 г.).

— Товарищи! Сегодня по приказанию уездного начальника Радэна в городе, на базарной площади, драгунами убито двое крестьян,—так говорил один из пяти собравшихся в лесу человек, тов. Иордан (Штифт),—с опубликованием манифеста 17-го октября нахальство помещиков все возрастает! Оно заставляет нас помериться силами с ними, отомстить за убитых товарищей. Но, начинать ли нам? Наша организация может выставить только шестьдесят человек, вооруженных дробовиками. Со стороны помощи нечего ждать! Запросил рижских товарищей. Ответ один: если надеетесь на свои силы, начинайте!

* * *

Решено: В среду, в 11 часов утра, группами занять лютеранскую церковь, дом латышского общества, городское училище и прочие каменные дома в центре Туккума. Занять тюрьму и освободить политических заключенных. Потом, обезоружить отряд драгун, чтобы иметь оружие для дальнейших действий.

Все по своим местам! Скоро раздастся сигнал и—мы победим!

III.

Не хватает пороха!

(1905 г.).

Идет бой... Бухают наши дробовики, свистят пули драгун! Тут и там валяются трупы убитых драгун и лошадей...

После четырехчасового боя город в наших руках. Отряд драгун совершенно разбит. Из рядов нашей дружины выбыло только одиннадцать человек. Слава им—павшим в бою!

* * *

Как молния, пронеслось известие, что не хватает пороха. А слухи о выступлении из Виндавы генерала Хорунженко с двумя стами улан все росли...

* * *

Капитуляция. В город вступают бароны Рекке и Радэн. Начинаются грабежи и зверские убийства. Реакция пирует свой кровавый пир. Уже убито 67 туккумских рабочих....

Эх! Не хватило пороха...

IV.

(1905 г.).

Декабрь. В одиннадцати верстах от гор. Туккума, в темной будке, железнодорожного сторожа «Виктора», товарищи «Бурлак I» и «Теодор», дают друг другу клятву сделаться партизанами — «лесными братьями», и драться до последней капли крови, мстя за убитых товарищей, но ни в коем случае не удирать за границу.

V.

Мы начали рано!

(1906—7 г.).

Арест... Суд и—в результате 17 растрелянных и 46—на каторжные работы.

Никогда не забуду эту ужасную ночь на 14 февраля! Железные кандалы—холодные змеи—обвили мои ноги! И мучила меня мысль, что вот скоро, скоро я расстанусь со своими товарищами из дружинников: Николаем, Тидэ и Лелкалном...

Тишина. Часы на башне собора пробили четыре. В коридоре топот сапог и звяканье шашек. Слышу также, как открывается дверь смежной камеры.

— Едем в централ!—звучит голос конвойного офицера, который нас водил на суд.

— Знаем, какой централ!—слышу голос т. Николая.—Вы. трусы, даже закованным боитесь правду говорить!..

— Прощайте, товарищи!—нежный, как майский ветерок, прозвенел юношеский голос тов. Николая и в ночной тишине долго слышалось:—«мы начали рано и шли погибать, нам выпала горькая доля!»

Потом все замерло. И монотонные шаги ключника как будто бы шептали: «Их не стало»!...

VI.

Мы вырастем, вас выручим!

(1907 г.).

Воскресенье. Закованные в ножные кандалы, кругом оцепленные, как конной, так и пешей стражей, мы шагаем в сторону Двинского вокзала по главнейшим улицам города Риги. Вдалеке замечаю морщинистое лицо моей матери, смотрю, украдкой, молча посылаю свое последнее «прости». Сего-

дня нас, партию каторжан, отправляют во Владимирский централ... Думаю о своих слабых родителях, которые сейчас останутся одинокими, брошенными на произвол судьбы, о жене и детях...

Толпа подростков, провожающих нас, помахивая красными платочками, нас ободряет:

— Товарищи! Не падайте духом! Мы вырастем, мы вас выручим!..

VII.

Выручили!

(1917 г.).

«Знаменитый» Владимирский централ, в котором диктаторствовали «гуманный» Парфенов, потом Гудимо с Синайским и, наконец,, изверг Гаваман! Тот самый централ, который вместе с рижским, как прожорливый зверь, проглотил двенадцать лучших лет моей жизни!

4 марта 1917 года учащаяся молодежь гор. Владимира открыла двери нашей могилы—тюрьмы. «Мы выросли, мы вас выручили!» Прошло много лет, как эти слова были сказаны. И молодежь сдержала свое обещание—нас выручила.

Вспоминая пережитое, сам, отходящий в прошлое, я верю, что наше будущее в наших детях. Воспоминание о рижских подростках и владимирской учащейся молодежи составляет одну из светлых страниц моей жизни

К. П. Берзин.



Побег из ссылки.

I.

Безотрадна была жизнь политических ссыльных, разбросанных по одному, реже по два или три человека по глухим деревушкам необ'ятного Енисейского уезда в 1908—1909 годы.

Режим ссылки являлся сугубым отражением политического положения в России, и, таким образом, политические ссыльные особенно остро чувствовали тот гнет, которым так больно давила всю Россию разгулявшаяся реакция. Естественно, что единственной мечтой, не покидавшей революционера в ссылке, было—как можно скорее бежать туда, где временно побежденная революция властно звала в свои ряды старых борцов.

Мысль о побеге всецело завладела мною с первого дня моего прибытия в ссылку, но осуществить ее удалось не скоро: для побега, прежде всего, нужны были средства и вольная одежда, а мы в ссылке первое время ходили в арестантской одежде, полученной в тюрьме; чтобы получить все это, нужно было ждать несколько месяцев, так как письмо из Кежемской волости (место моей ссылки) до Киева шло при благоприятных условиях полтора месяца, а если оно посылалось во время распутицы, во время осеннего и весеннего ледоходов по Ангаре, то оно доходило лишь спустя 3 или 4 месяца. Вооружившись терпением в ожидании получения из России денег и вещей, необходимых для побега, мы, трое, чтобы не подать никаких поводов начальству о замышляемом нами побеге, стали жить одной жизнью с крестьянами: ходили с ними в лес дрова пилить, ловили с крестьянами рыбу неводом, вечером ходили к ним на «вечерки», пили с крестьянами водку, и, таким образом, мы мало-по-малу как-будто бы приспособились к новым условиям жизни. В действительности же мы испытывали невыносимый гнет от серенькой, будничной жизни, без книг, газет и без общения с новыми товарищами (а друг другу мы достаточно надоели). Кроме того, мы также переносили материальный гнет от сибирского кулака-крестьянина, эксплоатировавшего нас самым жестоким образом; так, например, за распилку одной сажени дров мы получали 15 к.; работая от 8 ч. утра до 8 ч. вечера, мы в состоянии были распилить и расколоть лишь три сажени дров, за что получали 45 коп. на троих, по 15 коп. на человека в день.

В начале нашей ссылки, т. е. приблизительно с весны 1908 года, единственным начальством, в ведении которого мы находились, был сельский староста. Но вот осенью 1908 года, по распоряжению енисейского губернатора, для наблюдения над политическими ссыльными были назначены специальные стражники, которые по положению своему ничем не отличались от тюремных надзирателей: два раза в день, рано утром и поздно вечером, они делали проверку, днем следили за каждым нашим движением, за нашими разговорами с крестьянами, а иногда даже делали обыски в нашей квартире. С момента водворения стражников жизнь стала совершенно невыносимой, и единственное, что удерживало нас от поступков, могших повлечь за собою печальные для нас последствия, это была надежда на скорое получение денег и вещей, которые дадут нам возможность осуществить нашу заветную мечту. Но скоро произошло нечто такое, что сильно усложнило наш предполагаемый побег. По распоряжению пристава, все политические ссыльно-поселенцы, находившиеся по каким-либо причинам не в той деревне, к которой были приписаны, должны были немедленно быть отправлены к месту приписки. Все мы трое были приписаны к трем различным деревням, в расстоянии на несколько сот верст от Дворца, где мы явочным порядком поселились во время прибытия в ссылку. Несмотря на все наши попытки неподчинения этому распоряжению, мы были раз'единены. Но эта мера не парализовала наше желание бежать; план бегства сделался сложнее,—значит, для осуществления его нужно было проявить больше энергии.

В марте 1909 г., т. е. спустя три месяца после расселения нас по местам приписки, были, наконец, получены так долго ожидаемые деньги и вещи, и вопрос о побеге стал перед нами боевой задачей, решить которую было для нас вопросом жизни. Для этой цели мы предварительно списались между собою и выработали следующий план: я, как живший в самой дальней деревне, легально беру разрешение у старосты на поездку в волостное село Кежму по болезни к фельдшеру, оттуда я уже нелегально пробираюсь дальше по направлению к деревне Проспихино для соединения с жившим там товарищем, а затем мы уже вдвоем продолжаем дальнейший путь в деревню Недокура, соединяемся с третьим товарищем, а оттуда мы по льду ангарскому доходим до Дворца, где мы раньше жили, и лишь со Дворца сворачиваем в тайгу и держим путь до станции Тайшет, Сибирской железной дороги.

Разрешение на поездку в Кежму мною было получено без большого труда, и через два дня я был в Кежме. Жившему там товарищу я предложил присоединиться к нам. Он согласился. Ночью, когда село спало безмятежным сном, мы тихонько вышли из села и пошли по направлению к деревне Проспихино. От Кежмы до Проспихино считалось верст 60, и это расстояние нам

нужно было пройти без лишних встреч; заметившие нас крестьяне легко могли бы выдать стражникам; поэтому мы шли скорым шагом, чтобы к утру пройти, по крайней мере, половину расстояния. Лунная мартовская ночь освещала нам путь. Согретые чуть заметным дыханием близкой весны и перспективой скорого освобождения от гнетущей атмосферы проклятой ссылки, бодро шли мы вперед, не зная усталости и не чувствуя тяжести почти пудового мешка с провизией и одеждой на плечах. К утру мы были уже далеко от Кежмы и на расстоянии почти дня ходьбы от Проспихино; но днем мы подвигались гораздо медленнее, так как мы избегали всяких встреч, и едва только, бывало, заслышим звук копыт или визг полозьев по снегу, как сейчас же сворачиваем с дороги и прячемся на берегу в кустах.

Продолжая путь с такими предосторожностями, мы благополучно достигли деревни Проспихино, откуда, соединившись с ожидавшим нас товарищем, пошли дальше и через два дня так же благополучно достигли Недокур, где соединение всей нашей «армии» стало совершившимся фактом. Самый опасный пункт, угрожавший провалить все наше дело, был еще впереди, что мы знали по опытам, уже проделанным раньше другими товарищами. Поэтому, продолжая свой дальнейший путь, мы удвоили нашу предосторожность. Опасный пункт, которого мы так боялись, это деревня Кова, до которой нам осталось пройти верст 40 и после которой нам нужно было сделать верст 30, чтобы быть в безопасности, так как оттуда путь наш лежал по необитаемой тайге, где, если и была опасность, так во встрече с медведем.

Описываемый момент так запечатлелся в моей памяти, что я его представляю себе настолько ясно, точно это было не 15 лет тому назад, а вчера; приблизительно в послеобеденное время мы были в 5-ти верстах от Ковы; проходить днем Кову значило итти на верный провал, и поэтому мы решили дождаться вечера; кстати, тут же на берегу, в 10 или 15 саженях, находилось охотничье зимовье. Большая глыба дикого камня с довольно большим отверстием с боку имела назначение печки, трубы не было. Затопили мы эту своеобразную печку. Скоро все зимовье наполнилось едким удушливым дымом. Усталые от долгой ходьбы и одурманенные дымом, мы скоро уснули. Долго ли мы спали, не знаю. Когда мы проснулись, в зимовье было совершенно темно. Кругом была полная тишина. Бледная холодная луна светила на ясном небе. Мы взвалили на плечи свои сумки и отправились в поход. Шли мы медленно, зорко глядели вперед и напряженно прислушивались. Через некоторое время мы были у деревни Ковы, расположенной на высоком берегу Ангары, при впадении в нее довольно большой реки Ковы.

Остановились; еще раз обвели взглядом деревню, погруженную в глубокий сон, и двинулись вперед. Деревня уже осталась позади, лишь купол убо-

гой деревенской церкви был виден, освещенный лунным сиянием. Испустив глубокий вздох облегчения, мы остановились, готовые торжествовать победу, как вдруг воздух прорезал крик: «Кто идет?» Как подкошенные, мы повалились на снег. В этот момент раздались выстрелы, и пули просвистали над нами.

«Остановись, руки вверх!»—раздалась вторая команда, и мы, поднявшись с земли, увидели бегущую к нам группу людей с винтовками наперевес — то были воинские стражники, накрывшие нас, несмотря на все наши предосторожности.

«Погибло дело, стоившее нам столько труда»,—думал каждый из нас, идя под конвоем стражников в сельскую каталажку.

Переночевав в каталажке, мы на следующий день были торжественно отправлены в волость при протоколе, гласившем о нашей попытке бежать из ссылки. Результаты нашего неудавшегося побега оказались гораздо менее страшными, чем мы сами ожидали: вместо ареста и возбуждения дела за попытку к побегу, пристав ограничился отправкой нас по местам приписки. Расставаясь друг с другом, мы условились с первыми вешними водами возобновить наше дело, прерванное проклятыми стражниками; сборным пунктом была назначена Кежма, куда каждый под тем или иным предлогом мог легально явиться. На этот раз решили отправиться в лодке по Ангаре.

II.

Ангара очень поздно замерзает. Я помню, что были морозы в 30—35 градусов, а быстрые воды Ангары с шумом неслись вниз. Но она также поздно освобождается от ледяных оков. Весной 1909 года мы с нетерпением ждали вскрытия Ангары, и в мае месяце мы, наконец, дождались столь важного для нас события. Не успела еще Ангара очиститься от льдин, как мы по условленному плану были уж в Кемже.

Летом Ангара является единственным путем сообщения всего обширного края, расположенного на ее берегах; последние не могут служить путем сообщения, во-первых, потому, что покрыты густым лесом, по которому можно с трудом лишь пробираться пешком, а во-вторых, в Ангару с обоих берегов впадает много больших притоков, переправа через которые возможна только в лодке. Так как у стражников нет никаких других путей для погони, кроме Ангары, то удача нашего предприятия в значительной степени зависела от того, останется-ли скрытым наш побег хоть несколько часов. Шансов настигнуть нас в таком случае было бы у них мало. Чтобы обезопасить себя со стороны стражников, находящихся в лежащих там на пути деревнях, мы

решили держаться противоположного деревням берега и, кроме того, стараться проплывать деревни вечерами. Самым главным затруднением было достать лодку; крестьяне, боясь быть привлеченными к ответственности за косвенное содействие к побегу, ни за что не решались продать нам лодку; взять же лодку самим или, проще говоря, украсть ее, мы не решались, не потому, что считали это не этичным, а потому, что такой поступок мог печально отразиться на оставшихся в ссылке товарищах, с чем мы не могли не считаться. После долгих поисков нам удалось найти крестьянина, который за 25 рублей продал нам старую лодку и три весла. Получив самое главное, мы запаслись на дорогу провизией — сухарями, солониной, сахаром, табаком, и в одну майскую ночь сделали первый шаг к осуществлению нашего плана.

За 15 лет, прошедших со времени описываемого события, очень многое улетучилось из памяти: имена самих близких дорогих товарищей, с которыми приходилось вместе жить, бороться, горе мыкать, и те не удержались в памяти; но есть моменты, сильные моменты, когда все твое существо особенно остро воспринимает переживаемые ощущения, моменты, когда ставится на карту вопрос: быть или не быть. Такие моменты никогда не забываются. Одним из таких в своей жизни я считаю первый шаг на пути нашего побега. Была чудная ночь. Кругом было так тихо, словно все замерло: спали люди, спала природа. Безшумно открыли мы двери своей избы, расположенной на берегу реки, и тихонько стали спускаться с косогора к поджидавшей нас на берегу лодке. В руках у нас было три весла и по порядочной сумке с провизией. Момент был серьезный. Окажись стражники теперь на косогорье, нам, пожалуй, пришлось бы плохо, тем более, что в последнее время побеги участились, и они были страшно обозлены.. Но вот мы уже в лодке, сумки наши уложены; двое в гребьях, один у руля, а четвертый в резерве. Дрожа от волнения, мы сильными взмахами весел и даже рулевого весла развили какую только могли скорость движения. Не прошло и полчаса, как мы были уж далеко от села; крыши изб хотя и были нам видны, но страха мы уже не чувствовали. Мы опустили весла и стали подвигаться вперед силой одного течения; ночь была довольно холодная, но с нас пот катился градом от работы веслами. Отдохнув, опять взялись за весла и стали быстро продвигаться вперед. Действуя по намеченному плану, мы благополучно проплывали встречные деревни противоположным берегом, совершенно незамеченные не только стражниками, но даже и крестьянами. На третий день нашего путешествия мы уж были в 20 верстах от Дворца, где нам предстояло бросить лодку и продолжать дальнейшее путешествие тайгой. Но тут перед нами встало довольно серьезное препятствие: в 10-ти верстах от Дворца громадную ширину Ангары (почти 3 версты) преграждает самый опасный из многочисленных порогов,

расположенных по Ангарскому руслу. Это Аплинский порог, через который могут проплыть лодки лишь в одном месте, по так называемым воротам, которые, по рассказам местных старожилов, устроили искусственно, посредством взрыва динамитом небольшой части этого громадного камня. Аплинский порог напоминает собою водопад: вода, несущаяся здесь со страшной быстротой, ударяясь громадным валом в камень, с шумом падает вниз там, где камень обрывается. Шум падающей воды или, как здесь говорят, рев порога слышен на расстоянии 10-ти верст и наводит страх даже на крестьян, много раз проплывавших его. Ворота порога имеют приблизительно 5 сажень в ширину. К несчастью, никто из нас точно не знал местанахождения этих таинственных ворот. При обсуждении вопроса, как быть, часть из нас была склонна добраться до Дворца берегом и через встретившихся на пути пару притоков перебраться вплавь, но, перебираясь вплавь по самой небольшой речке, мы лишаемся наших сумок с провизией, без которых немыслимо дальнейшее странствование по тайге.. Таким образом, перед нами стала дилема: либо пуститься наугад по страшному порогу, или дождаться какой-либо крестьянской лодки и проплыть по ее следам порог. В последнем случае мы рисковали быть выданными крестьянами. После недолгого размышления мы остановились на первом решении вопроса, тем более, что, в виду высокого уровня воды в Ангаре, порог должен был быть покрытым таким слоем воды, который, по нашему мнению, был достаточен для беспрепятственного проплытия такой небольшой лодки, как наша.

Набравшись храбрости, мы пустились в путь, решив держаться левого берега, который, по имевшимся у нас сведениям, был вообще менее страшен, чем правый.

Далеко-ли мы от порога, в центре его или уже проплыли, мы не знали. Но вдруг лодка наша остановилась; попробовали веслом у руля и нащупали камень; попробовали веслом у носа лодки и не достали дна; значит, находимся на обрывистом краю порога; попробовали рулевым веслом упереться в камень и сдвинуть ее, не помогло; тогда один из товарищей сошел с лодки на камень и со всей силы толкнул лодку вперед; лодка двинулась вперед, и через несколько минут мы были уже далеко от порога. Подбодренные удачным исходом переправы через опасный порог, поплыли дальше. Скоро перед нами на живописном берегу Ангары показалась знакомая нам деревня Дворец, где должно было кончиться наше плавание и начаться странствование по дикой и угрюмой тайге.

Было раннее майское утро, когда мы причалили к дворецкому берегу, на расстоянии почти одной версты от деревни; отсюда, как я уже сказал, путь наш лежал через тайгу. Путь этот представлял собою чуть заметную охот-

ничью тропу, по которой нам нужно было пройти свыше 100 верст, чтобы достигнуть первой деревни. Пользуясь ранним утром, когда село еще спало, послали двух товарищей в деревню, чтобы узнать у живущих во Дворце товарищей, по какой тропе нам итти. Мы же, в ожидании их, расположились в кустах. Прошел час, другой, третий, а делегация еще не возвращается; нас охватила тревога за их участь, которая еще более усилилась, когда мы из своих кустов услышали подозрительное движение на окраине села. Спустя некоторое время, мы увидели проскакавших верхом стражников. Тут для нас не осталось сомнения, что товарищи наши, замеченные стражниками, шмыгнули в лес, примыкающий вплотную к деревне. Сидя в кустах, мы решили ждать, пока уляжется тревога, и тогда наши делегаты, тоже где-нибудь притаившиеся в кустах, придут. Прождали мы в напряженно-нервном состоянии весь день, а товарищи наши не вернулись; нам казалось ясным, что они арестованы. Что делать? После долгого размышления мы решили, что нам ничего не остается делать, как самим поискать таинственной тропы. Так мы и сделали. Два мешка наших товарищей мы оставили в кустах. Пройдя по первой встретившейся нам тропе не больше полуторы верст, мы остановились, потому что дальше тропы не было; тогда мы вернулись обратно и стали искать другую тропу, с которой случилось то же, что и с первой, и лишь в третий раз мы шли довольно долго, а тропа не прерывалась, отчего мы заключили, что мы попали на настоящую «Мурскую» тропу, которая приведет нас туда, куда нам нужно. Прошли верст 15, солнце совершенно скрылось и в тайге воцарился полный мрак. Продолжать путь вечером было совершенно невозможно. Поэтому мы сбросили с себя наши мешки, развели костер, согрели чай, подкрепились и, усталые от ходьбы и нервных переживаний в течение дня, мы скоро уснули крепким сном. С первыми лучами солнца мы были уже на ногах и пустились в дальнейший путь. Отмахав к вечеру верст 40, мы опять остановились на ночлег. Мой товарищ скоро уснул, а я, растянувшись на траве, погрузился в созерцание таинственной жизни тайги. Вдруг стал доноситься до моего слуха какой-то никогда не слышанный мною храп с присвистом. Страшная мысль молнией прорезала мой мозг — медведь! Я разбудил товарища, и тот, уловив эти страшные звуки, в ужасе сказал: «медведь». Быстро взвалили на плечи свои мешки и безшумно стали удаляться от опасного места, не зная, идем-ли мы по тропе или мы давно сбились с нее. Шли мы долго. Вот далеко впереди нас увидели большой костер. По мере приближения к нему, мы убедились, что это не костер, а лесной пожар, к счастью для нас, прошедший узкой полосой. Мы попали, что называется, из огня да в полымя. Но выбора у нас не было. От многочисленных искр, носившихся в воздухе, на нас несколько раз загоралась одежда. К утру

мы вышли из полосы пожара. Не успев даже снять мешков с плеч, повалились мы на землю и уснули.

Прошагав еще два дня без приключений, мы на четвертые сутки с момента выхода из Дворца достигли села Червянки, расположенного на небольшой, но быстрой речке Муре, откуда и получила название пройденная нами тропа— Мурская. Село Червянка тоже является местом политической ссылки, но условия жизни тут были менее суровые. Скоро отыскали товарищей, у которых остановились. От Червянки до станции Тайшет проводилась трактовая дорога. При недостатке в рабочих руках, местная власть не особенно строго относилась к новым лицам. Решив воспользоваться случаем подработать несколько денег, вступили в артель, состоявшую исключительно из ссыльных. Работа, правда, была довольно тяжелая, но зато она давала до одного рубля, в среднем, на каждого человека в день.

Приблизительно на 10-й день нашего прибытия в Червянки, вернувшийся из села товарищ, привезший нам провизию, сообщил, что в Червянки крестьяне привезли двух политических ссыльных еле живых; они бежали из Приангарья и заблудились в тайге. Бросив работу, побежал я в село. Это были они — наши делегаты, посланные разведчиками во Дворец. Но как они изменились! Как много страданий от пережитого было на их лице! Они были так слабы, что не были в состоянии говорить. На третий день они почувствовали себя лучше и рассказали нам по истине трагическую историю, жертвой которой они не сделались только благодаря чуду.

«Пробираясь берегом реки,—начал свою печальную повесть товарищ:— «мы дошли до деревни и благополучно добрались до избы, где жили наши товарищи. Не успели мы напиться чаю, как явился стражник. Мы, не долго думая, выскочили на улицу и на глазах стражника бросились в тайгу, где и притаились у первого куста. Стражник, повидимому, не ожидал такого фортеля с нашей стороны, и до того растерялся, что даже не выстрелил нам в догонку. Но скоро сбежались другие стражники и, оседлав коней, поехали по Мурской тропе, думая, что мы пошли по ней. Не подавая никаких признаков жизни, мы сидели в своем логовище весь день. Лишь вечером, когда тревога совершенно улеглась, мы бесшумно добрались до куста, где мы вас оставили. Сумы наши лежали, вас же не было, мы поняли, что вы ушли. Отыскав Мурскую тропу, о местонахождении которой мы успели расспросить товарищей, мы быстро пошли по ней, намереваясь вас догнать. На рассвете мы увидели, что сбились. Трудно передать вам тот ужас, который охватил нас при этом. Поиски тропы в течение нескольких часов ни к чему не привели. Тогда мы решили итти по одному направлению и таким образом куда-либо выйти.

Провизии у нас было дня на четыре, при экономии можно было растянуть на неделю. Прошли мы целую неделю, а тайга попрежнему была мрачна и ничего хорошего не предвещала. Провизия у нас уже кончилась. Питались мы травой, прошлогодними грибами, кореньями. Отчаяние заживо похороненных людей охватило нас. И теперь уж не страшен был нам медведь, которого мы видели на расстоянии нескольких шагов важно расхаживающим по своему царству. От изнеможения мы едва двигались. Был момент, товарищи, когда в голову пришла мне страшная мысль: зачем нам обоим погибать? И в такие моменты я подумывал, знаете, о чем? Убить своего товарища и, питаясь его мясом, одному продолжать путь; мысль эта не на шутку засела в моей голове: несколько раз, когда товарищ мой почти без признаков жизни лежал в забытье на траве, я тихонько подкрадывался к нему и намеревался убить его, но вид его полного страданья лица спасал меня. Проводя ночи в страшных кошмарных видениях, мы на утро опять пускались в путь. Уже потеряли всякую надежду на свое спасение. И вот, товарищи, тут-то случилось чудо: тайга поредела и сквозь деревья был виден горизонт. Спасение было близко. Теперь мы решили бороться до конца. Когда силы нас совершенно покидали, и мы не были в состоянии держаться на ногах, мы ползли на четверинках, а все-таки подвигались вперед. Наконец, мы очутились на поле, какие-то люди посадили нас на повозку и увезли. Тут я потерял сознание, и не помню, как я очутился здесь».

Недели через две вместе с успевшими окрепнуть товарищами решили мы продолжать наш путь. Оставшиеся нам до линии жел. дор. двести с лишним верст мы прошли без всяких приключений. Одевшись в приличное городское платье, вошли мы в вокзал маленькой станции. Тут пути наши расходились: я имел явку в Красноярск, а товарищи мои держали путь во Владивосток. Прощаясь при расставании, мы крепко пожали друг другу руки, долго и пристально смотрели друг другу в глаза, как будто предчувствуя, что больше не увидимся. Прошло много лет, полных самого бурного содержания: борьбы, нового ареста, затем каторги и опять ссылки и, наконец, полное освобождение по воле Великой Революции, но образы двух товарищей, блуждавших в течение 14 дней в тайге, и до сих пор, как живые, стоят перед моими глазами.

М. С. МИТТЕЛЬМАН.



Херсонская каторга в дни войны.

(Из воспоминаний политического каторжанина).

I. Начальник Синайский.

Имя Синайского, приобревшего печальную популярность своей практикой в Орле, известно было в свое время даже за пределами нашего отечества. После истории избиения Бориса Жадановского и вызванного этим запроса в Государственной Думе, в органе германских эс-деков «Форвертс» появилась статья, озаглавленная «Интеллигентный зверь». В этой статье было подробное описание и характеристика Синайского.

Выхоленный, нежный барич-офицер, участник карательной экспедиции Ренненкампфа, утонченный садист и «культурный» палач, Синайский считал себя представителем и защитником «высшей» культуры и цивилизации, которые он-де защищает от «некультурных варваров» — арестантов вообще и политических в особенности. Это была характерная, я бы сказал, даже символическая фигура: в ней сконцентрировалась вся дикая месть и бешенная злоба власть и собственность имущих по отношению к раздавленной и растерзанной народной революции пятого года.

И вот этот страж «культуры» в пятнадцатом году назначается начальником херсонской каторжной тюрьмы. Палач, убивший не одного революционера, в Херсоне становится совсем неузнаваем. Синайский в Херсоне либеральничает. Причину его либеральной гуманности нужно искать не только в новом курсе высших сфер, но в том особом положении, которое во время войны занимал херсонский централ.

Херсонская каторжная тюрьма, в которой были оборудованы механические сапожные и портняжеские мастерские, изготовлявшие амуницию для военно-интендантского ведомства, не могла бы работать в условиях орловского режима. Тюремная инспекция и интендантство, заинтересованные в максимальной эксплоатации рабочей силы каторжника, не могли совместить это с массовым убийством заключенных, которое практиковалось раньше Синайским в Орле. И Синайский перед нами в Херсоне предстает, как «миролюбивый» дипломат. В то время, как в централе, в карцерах, продолжаются ча-

стичные избиения (в особенности осенью 1915 г.), в рабочих ротах и мастерских «дышется» легче.

Синайский неоднократно вызывает к себе делегатов от мастерских и любезно с ними беседует. Разрешается ежедневная выписка молока и белого хлеба. Но в то же время он не прочь показать свои волчьи зубы. Осенью 15-го года, когда была об'явлена сумма рабочих денег за октябрь, рабочие увидели, что за этот месяц они получают меньше, чем получили за предыдущий. В связи с этим началось глухое недовольство среди работающих в мастерских. Синайский через своих тюремных шпионов все время зорко следил за настроением в мастерских, вполне основательно учитывая его, как фактор большей или меньшей продуктивности каторжного труда. Помню я те собрания портных и подручных, на которых выступал Синайский. Каким трагикомизмом веяло от этих арестантских собраний, где председательствовал и ораторствовал этот самодур.

— Я знаю,—начинал он всюду свою речь,—что среди вас есть агитаторы, которые подстрекают вас к итальянской забастовке; помните, что вы в моих руках, помните, что я Синайский. Я вам тут устрою Орел и Владимир, и т. д. в том же духе. Молча и внимательно слушали арестанты «красноречивого» палача. Бывали комичные инциденты, когда некоторые из арестантов тоже выступали, указывая на ту грабиловку, которую устроил лавочник тюремный, дравший семь шкур с арестантской выписки. Тогда Синайский по обыкновению брал под свою защиту спекулянта-лавочника, ссылаясь на дороговизну, вызваную войной.

— Чего же ты хочешь,—уговаривает он арестанта,—чтоб лавочник доставлял продукты за твои прекрасные глаза, ничего не зарабатывая?

Арестант все же не поддается на доводы Синайского, настаивая на своем; тогда Синайский начинает подтрунивать:

— Скажи, ты не хохол?—спрашивает он арестанта.

Получив отрицательный ответ, он удивленно разводит руками:

— Как же это так, а ведь ты упрям, как хохол.

Довольный своим красноречием и юмором, Синайский уходит. В других мастерских повторяется та же самая картина.

Опять и опять он вызывает к себе в контору делегатов от мастерских. То он угрожает розгами и повторением Орла, то заискивает, стараясь внести антагонизм между долгосрочными и малосрочными. То он старается натравливать татар и других инородцев на русских. Всем этим он преследует одно: не допустить итальянской забастовки, которая могла бы отразиться на заказах интендантства. Синайский старался бить и на патриотические чувства заключенных, апеллируя к их любви к России и необходимости победы

над Германией. «Теперь в России нет социалистов и революционеров—теперь все слилось вместе»,—подлинные слова Синайского, сказанные им одному политическому каторжанину.

Во время войны тюремное начальство «поумнело», поняв, что розгой и карцерами не добиться интенсивного труда; что нужны тут другие стимулы, как материального, так и духовного характера. Вот почему одна только мысль о возможности отказа каторжан, лишенных прав, от работы приводила Синайского в бешенство. Хорошо понимая, что на открытое об'явление забастовки каторжане навряд-ли решатся, он боялся забастовки скрытой. Как только бывало, какая-нибудь мастерская уменьшает количество выработанных шинелей, уже вызывают делегатов мастерских для об'яснений. Синайский уже подозревает забастовку. А уменьшалась работа потому, что каторжане были слишком истощены, как тяжелой работой, так и скудным питанием. Пища стала невыносимой; выписка продуктов была ограничена—раз в месяц на рабочие деньги суммой не больше трех-четырех рублей, что при вздорожании жизни было крайне недостаточно. Вполне понятно, что начались заболевания среди каторжан, и без этого отмеченных печатью туберкулеза. Многие пошли на третий корридор, т. е. тот корридор больницы, где лежали безнадежные больные, где доктор, тюремный сотрудник смерти, прописывает «курицу» (всегда перед смертью тюремная медицина прописывала арестанту курицу) и где, по меткому выражению арестантов, приписывались в Херсонские мещане, т. е., отправлялись на Херсонское кладбище. Бывало утром, когда выгонят на тюремный двор на черную работу, видишь в мертвецкой двух или трех покойников. Забастовка, которой, как черт ладана, боялся Синайский, рано или поздно должна была разразиться.

II. Итальянская забастовка в каторжной тюрьме.

В первых числах февраля 1916 года инициативная группа каторжан, работавших в первой и второй портняжеских мастерских (где были политические и уголовные) решила дать организованную форму накопившемуся недовольству и возмущению заключенных. Были импровизированы сходки мастерских, на которых был выработан целый ряд требований, долженствовавших быть пред'явленными тюремной администрации, а именно: 1) улучшение тюремной пищи, 2) прекращение частичных избиений, которые имели место в централе, 3) повышение платы, получаемой арестантами за выработанную ими норму, 4) увеличение суммы денег на выписку, как на собственные, так и на рабочие деньги и 5) разрешение на получение продуктовых посылок. Учитывая положение лишенных прав ссыльно-каторжных, группа, взяв-

шая в свои руки руководство забастовкой, не могла звать к полному прекращению работы, а лишь к максимальному сокращению вырабатываемой ежедневно нормы. Средняя норма, вырабатывавшаяся ежедневно каждым рабочим, колебалась между 20—25 шинелями. Было решено всеми сократить эту норму до 7-ми. Дружно и единодушно началась эта забастовка белых рабов, пленников капитала и власти. Политические и уголовные, татары, кавказцы и другие народности, рабочие и интеллигенты, а также солдаты, массами прибывавшие во время войны с фронта, одним словом все, зачастую враждовавшие между собой группы каторжан, об'единились в этой, замечательной по своему драматизму, тюремной забастовке-протеста против дикой эксплоатации человеческого труда, которая практиковалась во время войны в Херсонском централе. Несмотря на все опасения и подозрения, которые еще раньше были у Синайского, он был сильно обескуражен, когда забастовка, которой он так боялся, стала фактом. Ведь «гуманный» Синайский мог все с ними сделать—вплоть до применения розог! Он может, когда нужно, поступать не только по закону, но и сверх закона! Так именно заявил он одной делегации от каторжан. Но ведь этим не поправить дело интендантства, страдающего от того, что количество ежедневной нормы понизилось от 20-ти до 7-ми.

Тюремная инспекция не на шутку взволновалась; начались трения между нею и военным интендантством, обвинявшим инспекцию во всем случившемся. Тюремная инспекция в свою очередь начала дергать Синайского, обвиняя его во всем. Лихорадочно бегали представители итнендантства и инспекции в тюремную контору, интересуясь ходом забастовки. А Синайский, по заранее заготовленному проскрипционному списку, из'яв человек 20 агитаторов, заковал их и отправил в одиночки централа. Надзиратель-палач (фамилию забыл), который всегда порол каторжан, начал демонстративно гулять по двору с пучком розог. В тюрьме чувствовалось приближение грозы: все ждали порки.

Прибывшим в тюрьму губернским тюремным инспектором Билимом были вызваны некоторые арестанты, которые раньше отличались наибольшей выработкой, а теперь как раз больше всех понизили ее. Беседу вел он очень корректно. Расспрашивал о причинах такой резкой перемены в темпе их работы. Все отвечали ему, что истощение и голод являются причинами сокращения количества вырабатываемых предметов амуниции. Уговаривал некоторых стать штрейк-брехерами. Получив от всех отрицательный и упорный отказ, он распорядился лишить их переписки и выписки. В особенности подвергался частым допросам политический Файтелевич (участник восстания саперов в Ташкенте в 1912 году). Через несколько дней было выпорото

несколько человек. Надо отметить, как знамение времени, что ни один политический не был порот.

Еще партия была отправлена в централ и закована, но работа не подвигалась. Ни угрозы, ни порка, ни другие репрессивные меры, не возымели должного действия. Тогда Синайский решил попробовать пойти «государственно-дипломатическим», провокационным путем. Как я уже выше указал, еще до забастовки Синайский старался сеять рознь среди разношерстного населения тюрьмы.

В Херсоне отбывало каторгу свыше пятисот человек татар, аджарцев и магометан-горцев. За исключением немногочисленных горцев, осужденных за грабежи, и аджарцев, осужденных во время войны за шпионаж в пользу Турции,—большинство из них попало на каторгу за убийства на почве личной, или, вернее, родовой, мести. До фанатизма религиозные, они отличались особой покорностью начальству и смирением. Работали упорно, выносливо, а туберкулез косил их, отправляя массами в могилу. Никогда не протестовали они против тяжелых условий каторжной работы. А если они и проявляли кое-какую строптивость, то лишь по вопросам, затрагивающим их религиозный быт. Они, напр., иногда требовали для себя отдельной кухни, так как не хотели кушать пищу на сале; а также требовали устройства при тюрьме магометанской мечети, где они могли бы молиться своему Аллаху. Не знаю, почему религия Ислама была в загоне у тюремной администрации, и, несмотря на наличие православной церкви и еврейской синагоги в Херсонском централе, которые, если и посещались арестантами, то, конечно, для чего угодно только не для молитвы,—богобоязненные татары были лишены страстно желаемой ими мечети. Но вот разразилась забастовка, и тюремная администрация начинает проявлять особенную любезность и благосклонность к этим, всегда третируемым ею, как вьючных животных, париям каторги. Всех татар собрали и поместили вместе в одну рабочую роту. Туда явился к ним тюремный инспектор и начал агитировать среди них за необходимость возобновления работы. Не стесняясь в выражениях, он призывал и убеждал татар не слушаться этих «сволочей русских», которые не хотят работать и бунтуют, и обещал им, если они начнут нормально работать, устроить отдельную кухню и даже оборудовать мечеть. Закончив свою антирусскую речь, инспектор, вопреки своим ожиданиям, был обезкуражен теми репликами, которые он услышал от богобоязненных и покорных начальству сынов Востока.

— Мой не б...ь,—начались раздаваться голоса,—нэ сука. Русски нэ рабатаэт и мой работат нэ будэт.

— Забери нас отсюда,—кричали другие,—тут не сучий куток.

Потерпев полное поражение на «татарском фронте», инспектор ретировался на русский. Но и тут ему не повезло. В результате еще несколько человек было отправлено в карцер.

Забастовка продолжалась уже вторую неделю, были уже отдельные случаи штрейк-брехерства, но штрейк-брехеры были сурово наказаны бастующими: в 3-й роте штрейк-брехера порезали ножом, и он должен был уйти в «сучий куток». Но уже начал чувствоваться какой то надлом в настроении арестантской массы:—начали раздаваться голоса довольно черносотенного пошиба, обвинявшие в забастовке «жидов и интеллигентов»,—то сказалась провокаторская работа шпионов Синайского, сеявших раздор и разложение среди арестантов, натравливавших одних на других. Но интересно, что, когда начались колебания среди некоторых арестантов, то татары заявили, что они будут резать всех тех, которые начнут работать. Можно себе представить изумление и негодование Синайского и его присных, когда самые покорные элементы каторги на деле оказались более стойкими и упорными в товарищеской самодисциплине, чем другие.

— Нет, это что-то невероятное, нужно к ним потребовать муллу.

Силу и значение религии в эксплоатации и порабощении людей хорошо знал «культурный» Синайский. Если арестант не только политический, но и уголовный в массе своей безбожник, то,—как уже упомянуто, татары отличались своей религиозностью. Для воздействия на них и нужен был Синайскому мулла. Но так как в самом г. Херсоне муллы не оказалось, то он поехал за ним в Николаев. Приехавший из Николаева мулла, получив соответствующие инструкции, созвал всех татар и, вообще, магометан, находившихся в Херсонской каторжной тюрьме. Собрание происходило в еврейской тюремной синагоге.

Мулла обратился к ним с пространной речью, указав на то, что нужно начать работу, что противно Аллаху не слушаться распоряжения начальства. В конце своей речи он угрожал всеми небесными карами тем, которые не станут на работу. Его проповедь не осталась без влияния на правоверных его слушателей; большинство, в особенности старики, начали высказываться за то, чтобы приступить к работе, так как, по словам муллы, бастуя, совершают большой грех. Но, находившийся на собрании молодой парень-чеченец, заявил им, что, если они начнут работать, то он их всех перережет. Зная хорошо, что эта угроза в устах горца-разбойника, если понадобится, будет проведена в жизнь, татары растерялись и не могли дать мулле обещания работать, какового он от них добивался. Мулла уехал, не оправдав надежд, возложенных на него Синайским. Тогда уже решили искать других путей для ликвидации забастовки. Начали делать кое-какие ничтожные уступочки: а

именно, разрешили выписку на собственные деньги два раза в месяц, обещали улучшить пищу и т. п. Эти уступочки и обещания возымели гораздо большее влияние на ход забастовки, чем все репрессивные меры. Усталость и колебания, раздоры и раздражительность, которые свойственны специфической тюремной атмосфере, благоприятствовали этому. Ясно было для всех, что забастовка идет к концу. Да тут, вдобавок, началась массовая отправка заключенных в Александровский централ, при чем в первую голову были отправлены инициаторы и руководители забастовки. После этого все постепенно стали на работу.

III. Политическая каторга в Херсоне.

Политические каторжане Херсонского централа, численностью более двухсот человек, разбросанные и рассеянные по общим камерам и занятые в большинстве случаев работой в мастерских, проявляли полную индиферентность и равнодушие к какой бы то ни было внутри-тюремной партийной и революционной работе. В 1912—13 годах были кое-какие попытки, была связь с волей, получались изредка номера анархо-синдикалистского органа «Голос Труда», выходившего в то время в «Нью-Иорке». Но после провала, имевшего место в 1913 году, закончившегося отправкой целого ряда товарищей на исправление в Ярославль, какая бы то ни была работа заглохла.

Помню я свою первую случайную встречу на прогулке с т.т. Дукельским и Винокуровым. Первый отбывал каторгу по делу Поволжской организации партии эсеров, а второй по делу Елисаветградской группы анархистов. Прошло уже столько лет с тех пор; многое из пережитого после освобождения отодвинуло на задний палн воспоминания о тюремной жизни и ее эпизодах. Но теперь, когда я пишу эти строки, я как будто снова переживаю те ощущения и чувства, которые волновали меня тогда, во время случайной встречи на тюремном дворе. Они были первыми политическими, которых я встретил во время своего пребывания в Херсоне. А потом я был отправлен в первую рабочую роту, где был совершенно оторван от других политических каторжан, там их было очень мало. Лишь спустя полгода, мне удалось связаться с некоторыми, находившимися в других ротах. Тогда, осенью 15-го года, мне удалось ближе познакомиться с теми интересами и настроениями, которыми жила часть Херсонской политической каторги. Состав политических каторжан Херсонского централа в качественном отношении был не особенно благоприятен для разработки вопросов, вызванных поражением революции пятого года, наступившей войной и ожиданием грядущей революции.

Будучи в большинстве участниками восстаний солдатских и матросских пятого года и, вообще движения того периода, скорее захваченными волной революции, чем сознательными революционерами, многие из политических каторжан Херсонского централа были беспартийными и не имели устойчивых взглядов по вопросам современности. И только отдельные лица, как Андрей Андреев, покойный Борис Жадановский, Верилас Пучков и др., могли выступить с успехом в том обмене мнений по вопросу о войне и грядущей революции, которому они осенью 15-го года положили начало. Андрей Андреев, под псевдонимом «Золоторотец», выпустил свой памфлет против войны, послуживший завязкой полемики между ним, Жадановским и Левенсоном. Жадановский писал под псевдонимом «Не свой», а Левенсон под псевдонимом «Медик». Их статьи, писанные печатными буквами, ходили у нас по рукам. Тов. Левенсон, судившийся по делу Хотинской группы анархистов-коммунистов, в своих выступлениях склонялся к какому-то анархо-толстовству, окрашенному в пессимистическо-индивидуалистический оттенок. Тов. Андрей Андреев-Богданов, судился по делу Севастопольской организации «Свобода внутри нас», организации полу-анархической, отколовшейся от эсеров; впоследствии он окончательно порвал с государственно-социалистическим мировоззрением и выступал в защиту крайнего анархизма, граничившего с индивидуализмом, или, как он его сам окрестил, «нео-индивидуализмом».

Борис Жадановский, участник восстания саперов в Киеве, цвет и гордость политической каторги, пытался дать марксистское обоснование максимализму. Полемика между этими тремя авторами, из которых каждый—отрицая войну,—по своему разбирал вопросы «приятия» и «отрицания», дала толчек пробуждению и работе мысли других товарищей. В начале 1916 года тов. Герасим Верилас, осужденный по делу Таганрогской организации эсеров, обратился с анкетным листом ко всем политическим заключенным Херсонского централа. Анкета заключала целый ряд вопросов, как-то: 1) об отношении к войне вообще, 2) к современной в частности, 3) каков будет исход войны и 4) каковы будут последствия войны для рабочего класса и его освободительной борьбы. Ответы были получены от 25 человек; ответы были преимущественно пораженческими и интернационалистическими, при чем все предсказывали неизбежность революции. Наиболее научно обоснованным был ответ Жадановского, старавшегося доказать, что война уже содержит в себе тенденции и зачатки государственного капитализма. Пессимизмом, навеяным созерцанием всеевропейской бойней и убеждением в крепости и живучести капитализма, был пропитан ответ Андрея Андреева. За «приятие» войны, как освободительной, высказался эсер Доценко, написавший в ответ на анкету целую тетрадь, полную цитатами из Бебеля, Жореса и Каут-

ского; тов. Пучков, осужденный по делу Ставропольской организации эс-эров, написал, в свою очередь, пространную статью-брошюру, в которой он дал историческое исследование о войнах вообще, и в своем отношении к происходящей, приближался к эсеровскому максимализму. Накопившиеся материалы и оживленный обмен мнений вызвали у некоторых из нас мысль об издании тюремнго журнала. Весною 1916 года в околодке Херсонского централа, группа политических каторжан, находившаяся на излечении там и состоявшая из вышеупомянутых: Вериласа, Левенсона и других, выпустила первый номер этого журнала под названием «Свободные Мысли». Журнал был междупартийным, или, вернее, смешанным, в котором работали и анархисты, и социалисты. Статьи в этом номере были преимущественно посвящены войне.

Почти вся работа по редактированию и техническому исправлению статей исполнилась т.т. Вериласом и Левенсоном.

Кроме публицистических статей в журнале помещались фельетоны, воспоминания и стихотворения. Из напечатанных статей, кроме вышеупомянутой статьи Пучкова о войне, можно отметить Левенсона тоже о войне и пишущего эти строки «Социализм и война». В следующих номерах появились статьи Андрея Андреева, Бориса Жадановского, Дукельского и других. Наиболее ценную статью дал тов. Винокуров; в ней, озаглавленнойй «К психологии момента» (под псевдонимом «Суровый»), он подверг блестящей критике государство и все его институты, а также наметил вехи социально-анархистской революции и строительства анархистской коммуны. Из воспоминаний, напечатанных в журнале, нужно отметить воспоминания Вериласа об анархисте Кузнецове, казненном за участие в Горловском восстании и известном под кличкой «Феномен»; воспоминания с.-д. большевика, Лоладзэ, участника Персидской революции 1908 г. Из стихотворений наиболее сильными были стихи Феодоровича, симферопольского эсера, лежавшего в больнице. Помещал свои стихотворения и довольно талантливый сотрудник с воли, живший в то время в Новороссийске. Этот сотрудник с воли, некий М., был когда-то осужден по делу Новороссийской республики в каторгу, а потом был освобожден. Во время войны он жил на Кавказе и поддерживал связь с некоторыми заключенными Херсонской каторги. Журнал становился все больше и больше популярным среди населения тюрьмы, как в централе, т. е., в корпусе, так и в рабочих ротах. Материала поступало много, интересного и разнообразного. В течении 1916 и января 1917 г.г. вышло пять номеров «Свободных Мыслей». О журнале дошло до Синайского; в связи с чем были произведены повальные обыски, которые не дали никаких результатов. Как я уже выше отметил, журнал был междупартийным,

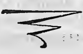
вернее, свободно-дискуссионным и предоставлял свои столбцы всем оттенкам революционно-общественной мысли, которые были представлены у нас, в Херсоне. Подвергались обсуждению и разбору не только вопросы злобы дня, но и все вопросы, вытекающие из мировоззрения анархизма и социализма и их философии. Несмотря на то, что полемика принимала иногда страстный характер, уживались рядом маркстиствующий Жадановский, крайний анархо-индивидуалист или нео-индивидуалист Андрей Андреев, народники-максималисты, а также анархисты-коммунисты.

Так как многие из редакционной коллегии, а также вообще пишущая братия, сотрудничавшая в нашем журнале, не имела постоянного «места жительства», перекочевывая из больницы обратно в централ или в рабочие роты, то это, конечно, отражалось на выпуске журнала. Но тов. Каспаров, работавший в тюремной больнице, был для нас незаменимым передаточным пунктом, через который переходили все наши литературные материалы. Благодаря ему, между прочим, мы имели возможность получать статьи от покойного Бориса Жадановского, которого Синайский, даже в больнице, держал в строжайшей изоляции. Заканчивая свой очерк, я еще должен отметить анкету по еврейскому вопросу, которая была сорганизована Пучковым незадолго до нашего освобождения. Анкета заключала в себе четыре вопроса: 1) отношение к еврейству, 2) роль еврейства в мировой культуре, 3) роль евреев в революционном движении вообще и 4) роль евреев в русском революционном движении, в особенности.

Все эти материалы, которыми я делюсь с читателями, сохранились у меня только в памяти и поэтому затрудняюсь воспроизвести точные ответы, полученные на эту анкету. Было бы хорошо, если бы тов. Херсонцы, в особенности Верилас и Пучков, у которых сохранились эти материалы, разработали бы их в нашей «каторжной» литературе. Ибо они имеют ценность для истории революционного движения. Они показывают, чем жил активный революционер, плененный в царской клетке, страдавший, не только от лишения свободы, но, больше всего, и от вынужденного политического бездействия, от оторванности от активного дела, от работы-борьбы.

Когда окружающая действительность мрачна, мы создаем себе иллюзии. В тюрьме, издавая журнал, мы этим создавали себе не только иллюзию свободы, но и иллюзию борьбы.

Н. ДРИКЕР.





«ВЕЧНИК»

фигура каторжаиина, осуждениого иа бесрочиую (вечную) каторгу, в арестантской одежде, в ручных и ножиых каидалах.

Наверху: оборудованная об-вом б. политкаторжаи—подпольиая типография из 2-х стаиков со шрифтами, захвачеииых жаидармерией и храиившихся в архиве истпарта. За стаиком члеи общества, иллюстрирующий печатаиие подпольиой литературы перед собравшимися иа открытие выставки. — Виизу: общий вид Киевской кареты смертииков—сохраиившейся в Лукьяиовской тюрьме.

(Сиимок газеты „Пролетарская Правда" № 264 от 18 иоября 1923 г. деиь открытия выставки Киевского Истпарта).

Еще несколько слов о т.т. Фруме Фрумкиной и Бердягине.

Много раз порывалась написать о т. Фруме Фрумкиной и о т. Бердягине, смерть которых пережила и перестрадала, но перо опускалось из боязни не описать их такими, какими они живут в моей душе.

Читая в 6-ой книжке «Каторга и ссылка» статью «Бутырки» тов. Ядова, в которой он рассказывает о вышеупомянутых товарищах, я почувствовала потребность добавить то, что я пережила, сидя в четвертой камере от Фрумы до момента ее ухода на казнь.

Пару раз я встречала ее в 1903 г. в Киеве, до ее ареста по делу типографии партии социалистов-революционеров (по провокации А. Розенберга). Желая отомстить за товарищей, она в Киеве, в Старокиевском участке, бросилась во время допроса на жандармского полковника Новицкого с перочинным ножиком, намереваясь перерезать ему сонную артерию. Покушение было неудачно: свора окружавших его приспешников успела ее схватить. Была она приговорена к 13 годам каторги.

В Москве, в Бутырках, она просидела почти два года, так как из-за японской войны прервана была отправка в Сибирь. Ведя ежедневную борьбу с тюремной администрацией, отстаивая свое человеческое достоинство, она почти не выходила из карцера. Помощник начальника Иванов, худой, желчно-злой человек, злорадно способствовал столкновениям, приводившим ее в карцер.

На каторге в Акатуе ее застала амнистия. Когда ей об'явили о переводе на поселение, она ответила: «Я не просила мне сокращать срок и я не выйду». Ее силой увезли. Попав в Читу, она, будучи акушеркой, оказывала медицинскую помощь населению. Но ее мятущаяся душа не выдержала ссылки, и через полгода она бежала с ссылки в г. Москву. В скором времени она была арестована в фойе театра с билетом 2-го ряда партера рядом с местом градоначальника Рейнбота и с двумя револьверами как раз в тот момент, когда она снимала пальто. Полиция схватила ее за руки со словами: «вы беглая каторжанка Фрума Фрумкина». Как видно, и на сей раз арест произошел не без провокации. После ареста Фрума была препровождена к нам в Бутырки. Я стала расспрашивать ее о каторге и сказала ей: «мы вместе пойдем на каторгу». Но

в ответ я услышала: «я больше на каторгу не пойду». В тот момент я ее слов не поняла.

В это время режим у нас стал ухудшаться; открылись знаменитые двадцатки для каторжан, начали поговаривать о применении к политическим розог. Фрума, опросив всех нас, женщин, как мы смотрим на террор внутри тюрьмы, и узнав о нашем отрицательном отношении к нему, достала револьвер и добилась вызова к начальнику тюрьмы Багрецову в контору. Она считала себя не вправе после нашего ответа стрелять у себя в камере, где условия для покушения были более подходящие. Прийдя в контору, она требовала улучшения условий жизни в этих знаменитых 20-ках, где помещались мужчины-каторжане. Исчерпав мирные средства, она выхватила револьвер, но в момент выстрела помощник начальника схватил ее за руку, и она только легко ранила Багрецова. Фрума была тут же избита и посажена в карцер.

После карцера ее поместили у нас, в женском корпусе на 4-м этаже, через три камеры от меня. В камере ее вставили двойные рамы, наглухо забили, а стекла замазали мелом. К дверям приставлен был жандармский солдат.

Самый тяжелый период ее переживаний начинается с этого момента и тянется до приговора. Приехали ее родные и стали хлопотать, чтобы ее признали психически ненормальной. Врезалось у меня в памяти ее продолговатое измученное лицо с двумя большими восточными черными глазами. Возили ее несколько раз в суд. В последний раз, когда ее привезли из суда, она вся сияла, глаза горели, как две звезды. Пройдя мимо моей камеры, она крикнула: «Я победила, меня признали нормальной, приговорили к казни, и мое имя не запятнано». И с этого момента она ждала казни, как светлого праздника, видя в ней залог пробуждения массы, сдвига ее к революции. Она много писала в это время о терроре и о том, что она пережила на суде, как она убеждала и доказывала профессору-психиатру, что она вполне нормальна и действовала по глубокому своему убеждению.

Все рукописи ее я переправляла на волю. Мне говорили, что они были напечатаны, но мне не пришлось их видеть. С момента произнесения приговора до казни прошло ровно две недели. Каждую ночь две одиночки рядом дежурили на окнах, чтобы не пропустить момента, когда Фруму вырвут из нашей среды. В одну из таких ночей моего дежурства мы на рассвете слышим выстрелы и отдаленный крик: «не стреляй, сдаемся»; это уголовные каторжане хотели бежать через крышу. Вся тюрьма, как единый человек, всполошилась, одна Фрума спала сном праведницы и ничего не слышала.

За несколько дней до казни, мне с ней как-то удалось обменяться несколькими словами. «Как, должно быть», — сказала она, — хорошо сейчас среди зелени, цветов, в саду, где поет соловей». Я до того не привыкла слышать

из ее уст что-либо, не относящееся к революционной работе, что мне жутко стало и больно, что и в ее душе, в душе фанатика-революционера, проснулась, может быть, мысль о жизни свободной и вольной.

Вдруг Фрума настойчиво требует позвать к себе помощника начальника. Надзирательница ей отвечает, что его нет сейчас в конторе. Фрума поднимает шум, бьет чем попало в дверь, и мы невольно присоединяемся. Дело кончилось появлением помощника начальника. Оказалось, что она потребовала, чтоб меня и еще кого-то снарядили в цейхгауз взять некоторые ее вещи для раздачи на память некоторым товарищам. Многие вещи оказались исчезнувшими из цейхгауза. У меня сохранился ее гребешок в футляре. Он много путешествовал со мной и все же уцелел. Я его храню, как память о выдающейся революционерке и о товарище, отдавшем жизнь за свою братью-каторжан. Фрума верила, что ее казнь принесет товарищам облегчение режима и отмену розог.

Накануне ее казни или днем раньше, точно не помню, у нас был тщательный обыск со сверлением стен. Последняя Фрумина рукопись у меня уцелела каким-то чудом, и под вечер я передала ее Фруме для дополнения (кажется копию я уже успела снять).

Вечером надзирательница сообщила, что в конторе что-то неспокойно. Рукопись нельзя было уже получить обратно. В первом часу ночи мы увидели надзирателей с фонарями, идущими крадучись гуськом один за другим. Это они шли за Фрумой. По выходе из камеры она крикнула: «меня берут, прощайте, Оля». Ее провели боковой лестницей, так что мы не могли ее видеть. На середине двора она крикнула, помахав платком, роковое: «Прощайте, товарищи!», и скрылась в калитке. Стук колес, когда ее отвозили,—и все затихло. Мы почтили ее память однодневной голодовкой и хлопотали, чтобы уголовным возвратили передачи (после ее покушения вся тюрьма была лишена передач).

Что я пережила лично, не умею передать, да это каждый сам поймет, кто пережил казнь товарищей, да еще в первый раз.

Я читала две версии о ее казни. По одной версии, ее вешали два раза: первый раз веревка оборвалась. Я склонна верить этой версии. Склонна думать, что неудачи преследовали ее даже в этот момент *).

Через несколько дней предстояла казнь второго борца тов. Бердягина, восставшего также на защиту товарищей-каторжан. Его я знаю совсем мало,

*) Т. Ядов в своей статье „Бутырки" („Каторга и Ссылка" № 6) о казни Фрумы Фрумкиной пишет: „Передавали нам потом, что там т. Фрумкина сама взошла на эшафот, сама надела на себя веревку и сама же вышибла из-под ног табуретку, не позволив таким образом, грязным рукам палача дотронуться до себя, пока еще кровь текла в жилах".

Обе версии в сущности не противоречат друг другу. *Редакция.*

Лики отошедших.





Киевская карета смертников.

(Вид со стороны входной двери).

1 и 2 — две одиночки, вышиной в два и шнриной в $1\frac{1}{2}$ аршина. Следовавшему на казнь приходилось в узкой клетке сидеть не поварачиваясь, колеин упнралнсь в стенки кареты. Одиночни запирались иаглухо. В маленьном корридорчике, оноло каждой двери сндел жаидарм с оружием в руках. Наглухо занрытая карета смертников сопровождалась к месту казнн усиленным верховым нонвоем.

В период с 1905 по 1916 г. в этой карете царсннмн слугами перевезены иа назнь сотии осужденных военными судами в Киеве, главным образом, политнческне.

но с благоговением вспоминаю, что оказалась на скамье подсудимых по одному делу с тов. Бердягиным. В день нашего ареста я передала ему на квартире провокаторши Жученко бомбу (о том, что Жученко была провокаторшей, я узнала много лет спустя на воле).

Тов. Бердягин был высокий шатен с проникающими в душу ласковыми голубыми глазами. Когда я стала об'яснять, как раз'единить бомбу в случае, если она не нужна ему сегодня, он ответил: «мне этого не надо, так как я сейчас иду». Не так судьба, как Жученко, распорядилась иначе. Я же в тот момент уходила с болью в сердце, что может быть через полчаса не станет неизвестного мне товарища, но дорогого мне, как единомышленника, а я иду по улице цела и невредима. Это чувство не из приятных; одно могу сказать: фамилии наши не были раскрыты. Судились мы 4 человека, все как Неизвестные. На суде т. Бердягин, от имени всех нас заявил, что суд над нами мы считаем пустой комедией и просил нас удалить, что судом и было исполнено.

Тов. Бердягин по суду получил 8 лет каторги. По своей натуре он не мог не реагировать на те издевательства, которые совершались в Бутырках над политическими каторжанами, будучи переведен к нам в Бутырки из Таганки, как каторжанин. Он покушался на помощника начальника, вооруженный простым перочинным ножем.

В противоположность Фруме, он считал для себя недопустимым погибнуть на виселице и сам покончил с жизнью, проявив нечеловеческую силу воли. Вот что я знаю о его смерти. Он принял морфий, доза оказалась мала, тогда он отточил чайную ложечку и хотел себе перерезать сонную артерию; когда это не удалось ему, он расковал себя, гвоздем проколол себе сердце.

Знаю еще, что, любя свою мать и имея схожий почерк со своим братом, просил его писать вместо себя ей письма. Итак, ушли два дорогих для меня человека. Чем меньше слов, тем лучше вы поймете, читатели, как трудно возвращаться к кошмарному прошлому.

С. А. ПОЛЛЯК (Ольга Неизвестная).



В Бутырках.

Наша маленькая партия прибыла в Московскую Бутырскую тюрьму в апреле 1907 года. После трехдневного пребывания в карантине, нас распределили по постоянным местам. Я попал в одну из камер 2-го корпуса. По обеим стенам очень узкого помещения, какое представляла собою камера, помещались висячие койки, состоявшие из двух железных труб с натянутым между ними брезентом. Подставкой для каждой служил ящичек, в то же время являвшийся и местом для сохранения скудных продуктов заключенного—обладателя койки. В пять часов утра койки подымались в этом виде запирались на замок до вечерней проверки. С правой стороны, у двери, помещалась параша, а напротив—два окна, выходившие во внутренний двор. Из них нам была видна круглая тюремная церковь, главные выходные двери, а также дверь, ведущая к карцерам. И вот началась моя однообразная жизнь в душном каземате. Единственным счастьем была возможность получать книги из тюремной библиотеки, и я широко этим воспользовался. Кормили отвратительно. Но это еще не так угнетало нас. Самое тяжелое в нашем положении было—полнейшее отсутствие свежого воздуха. Створки окон были наглухо прибиты гвоздями, вентиляции никакой, и все время приходилось дышать испарениями параши. Голова кружилась от зловонных газов, и в таком состоянии—прилечь негде—бодрствуя утомительных 15 часов.

Через несколько дней после моего прибытия, среди нас начались разговоры о необходимости самостоятельно произвести открытие окон и коек. Вскоре наступило 1-е мая—Всемирный пролетарский праздник. И мы решили в этот день чем-нибудь выразить свой протест против тюремных, и иных порядков и свою солидарность с товарищами на воле. Из камеры в камеру пошла гулять записка: «Товарищи, будьте готовы к 12 час. дня—открывайте окна и начинайте петь «Интернационал», сегодня первое мая!...» Мы достали куски железа и, как только раздались свистки на обед, бросились отбивать окна. Сгрудившись у раскрытых окон, глубокими вдыханиями мы набирали полные легкие свежего воздуха, лившегося вместе с теплыми майскими лучами в нашу камеру. Мы наслаждались. Когда первый припадок радости прошел, мы уселись на подоконники и запели «Интернационал». На крики дежурного надзирателя никто не обращал внимания, мы пели нашу торжественную песнь.

Однако, нам не удалось закончить ее. Лязг оружия, топот многих ног, открылась дверь—и, как бомба, влетел в камеру помощник начальника тюрьмы—Багрецов с оравой надзирателей. Он заорал, что было сил: «кто вам, мерзавцы, позволил открыть окна? Я вам покажу, как самовольничать у меня, я вас всех перепорю, назначу каждому по двадцять пять штук! Это вам не на воле демонстрировать, я сумею вас согнуть в баранний рог так, что и не пикнете». А надзиратели в это время забивали окна. Так они обошли все камеры...

На другой день, после обеда, я стоял у окна и смотрел, что делается во внутреннем дворе. Вдруг я увидел следующее: из канцелярии вышли две женщины, окруженные целой толпой надзирателей с оружием в руках. В одной я узнал надзирательницу из женского корпуса, а в другой—политическую заключенную Фруму Фрумкину. Скоро весть о заточении Фрумкиной *) в карцер разнеслась по всей тюрьме. Все стало нам ясно, когда вышел Багрецов, и двое надзирателей поддерживали его раненную, окровавленную руку. Все в один голос закричали: «Да здравствует Фрумкина». Подробности происшествия узнали от надзирателей. Фрумкина, узнав, что Багрецов угрожал политическим поркой за раскрытие окон, достала, одной ей известным образом, браунинг и вызвалась на личное об'яснение с этим помощником. Во время разговора с ним она незаметно выхватила револьвер и в упор выстрелила в Багрецова со словами: «так политические рассчитываются со своими палачами, которые хотят их пороть». Первым выстрелом она ранила его в руку, после чего выстрелила еще несколько раз, но безрезультатно—надзиратель успел ее схватить за руку.

Фрумкина была предана военно-полевому суду, но—по каким-то причинам—дело было вскоре из'ято оттуда и передано в военно-окружный. Суд над Фрумкиной состоялся 15-го июля. Защита просила назначить экспертизу умственных способностей подсудимой, мотивируя свою просьбу тем, что Фрумкина очень молодой была сослана на каторгу, а на несформировавшийся душевно и телесно организм тяжелые условия жизни в тюрьме действуют губительно. Суд согласился удовлетворить просьбу защиты. Но Фрумкина не допустила к себе экспертов. В тюрьме из камеры в камеру передавали в письменной форме ея речь на суде. Все восхищались стойкостью Фрумкиной. Я запомнил следующие несколько фраз из этой речи:

«Вы хотели признать меня ненормальной, но эта коварная хитрость вам не удалась. Я совершила свое дело в здравом уме, при твердой воле, вполне

*) Фрумкина в 1903 г. была осуждена Киевским военно-окружным судом за покушение на убийство при допросе ген. Новицкого и сослана на каторгу в Акатуй, откуда бежала. Вторично была задержана в 1905 г. при покушении на Московского ген.-губ. Рейнбота.



Уголок каторги и ссылки на выставке Киевского Истпарта.

сознательно, защищая своих товарищей от позорных пыток тюремных палачей. Не я преступница, а вы—преступники в генеральских погонах. При торжественных церемониях вы отправляете в могилу сотни и тысячи молодых жизней. Так осуществляете вы высокую справедливость, защищаете общество от крамольников. Но эти то крамольники и являются единственными защитниками порабощенного народа, стонущего под вашим игом»...

Несмотря на то, что все заранее предвидели, каков будет приговор над Фрумкиной, произнесение его как гром поразило нас. Через несколько дней разнесся по камерам слух, что в 2 часа ночи увели Фрумкину, и вместе с тем стало известно, что палач, находившийся в Пугачевской башне, был в тот же час вызван куда-то «на операцию». Мы бились в бессильной ярости. Одна мысль воспламенила мозг—мстить, смыть кровью святую кровь товарища. Был намечен план, по которому решили обезоружить Багрецова и надзирателей во время проверки и их оружием покончить с ними. План подлежал детальной разработке. А в данный момент решили об'явить однодневную голодовку. Предложили уголовным присоединиться, и они беспрекословно согласились и, как один человек, отозвались на выражение протеста... План нападения на тюремщиков не осуществился, так как часть заговорщиков была вскоре отправлена в Сибирь.—Уже будучи в Сибири, мы узнали, что тов. Бердягин ранил ножем в горло помощника, за что был предан военно-окружному суду, но до разбора дела сам себя зарезал.

А. СКУЛЬСКИЙ.





Уголок каторги и ссылки на выставке Киевского Истпарта.

Побег из Киевской тюрьмы.

Весной 1901 года, будучи зеленым юношей, я вступил в кружок типо-литографских рабочих, организованный наборщиками Ив. Михайловичем Любимцевым и Аркадием Буханевичем (партийная кличка «Сергей»). Целью кружка было сплочение под знаменем Р. С. Д. Р. П. рабочих нашего производства.

На 2-е февраля 1902 года была назначена открытая уличная демонстрация, на которой мы, члены организации, обязаны были выступить, и нашим заданием было—в тот момент, когда будет выброшено красное знамя, окружить знаменосца и стараться продержаться как можно дольше.

Я, вместе со многими товарищами, был схвачен полицией (на углу Лютеранской и Крещатика) и препровожден в Дворцовый участок, и вслед за сим, очутился в арестантских ротах (ныне Допр № 2), где нас, демонстрантов, было собрано 120 с лишним человек. Из общей массы арестованных на улицах 18 товарищей были выделены, как активные участники демонстрации, и препровождены в «Лукьяновку» для производства о нас дальнейшего дознания.

Сначала я сидел на «общем ссыльном корридоре», а затем был переведен в «политический корпус», в одиночку. Каждый корридор имел своего выборного старосту; был и общий староста корпуса.

Корридорные старосты, по нашей тогдашней Лукьяновской «конституции», имели право сноситься между собой и общим старостой, последний-же пользовался внутри тюрьмы полной свободой, т. е., камера его не закрывалась, ходил он по всем дворам тюрьмы в любое время, имел, следовательно, право посещать средний корпус—ссыльный корридор, женский корпус, больничный двор и помещения больницы, контору и проч... Общим старостой тогда был товарищ Гурский, Марьян Григорьевич, по прозвищу «Барабан». Это был «старожил» с 18-ти месячным стажем беспрерывного сидения—знавший все особенности тюрьмы, администрацию, надзирателей и т. п.

Политическое население тюрьмы, включая и женщин, составляло в то время, (ферваль—май) 170—200 чел. и состояло, главным образом, из интеллигентов. Нас, рабочих, было немного, приблизительно 10—12%. Мы имели возможность в любое время дня сноситься с обитателями всех камер корри-

дора (кроме «отлеток», в которых сидели до первого допроса более «опасные» революционеры). Прогулки происходили покорридорно. Жили мы тогда коммуной; имели свою «политическую» кухню; все передачи с воли получал староста в общий цейхгауз. Передачи делились общим старостой покорридорно, корридорные старосты распределяли их по числу обитателей корридоров и разносили после вечерней поверки на ужин. Таким образом, товарищи, которым с «воли» ничего никто не приносил, не чувствовали одиночества и оторванности и в материальном отношении были равноправными с имущими товарищами.

Существовавший в то время политический красный крест вел в городе интенсивную работу по собиранию средств среди сочувствующей интеллигенции и рабочих. За все время сидения (5 месяцев), тюрьма особой нужды не испытывала—т. е., всегда был обед, чай, белый хлеб, табак, сахар и проч. Благодаря существовавшей тогда политической тюремной библиотеке, мы имели возможность читать приличную литературу, а иногда попадали в тюрьму газеты и журналы, а частенько и «Искра». Интеллигенты занимались с нами политической экономией, читали лекции по обществоведению и т. п. Словом, наше революционно-политическое воспитание шло быстро, и никто из нас, молодых, неопытных революционеров, не думал о том, что тюрьма излечит его от политических «заблуждений», а наоборот—революционное сознание закалялось, и мысль о необходимости продолжать революционную работу все больше и больше укреплялось в наших молодых головах.

После первых чисел мая, тюрьма начала разгружаться, а к концу месяца не было дня, чтобы не выпускали кого-либо из товарищей на волю, благодаря чему у нас завязалась регулярная переписка с городом, так как выпущенные товарищи, зная все особенности тюремных порядков, получили возможность организовать «почту», которая шла не через преданных нам надзирателей, как прежде (все таки не было уверенности в них). В больнице всегда кто-либо из наших находился на «поправке», и во время прогулок по условному сигналу, улучив минутку, мы подходили к деревянной огороже и между щелей забора просовывали записку на улицу. Со стороны поля тогда была возможность подойти к забору тюремной больницы, так как наружной охраны в то время не было.

Благодаря сочувствию либерально настроенного общества, которое так или иначе влияло тогда и на тюремную инспекцию и, главным образом, на губернские власти,—строгий режим в тюрьме постепенно стал ослабевать; само-же тюремное начальство, особенно помощники нач. тюрьмы, настроено было к нам, политическим, хорошо, и мы, благодаря всяким «волынкам», добились того, что камеры с утренней до вечерней поверки не запирались. Все

три коридора получили возможность проводить весь день в тюремном дворе политического корпуса.

Надзирателя и часовые вольнонаемные,—(военных караулов в тюрьме не было), в подавляющем большинстве были ребята хорошие и всецело настроены были в нашу пользу. Припоминаю, как один из них, по фамилии Кучеров, по утрам, проходя по коридору, всегда пел нам «вставай, подымайся, рабочий народ».

Вот в это-то время и зародилась мысль о побеге у товарищей, которым предстояли долгие месяцы предварительной отсидки и верные 5 лет пребывания в отдаленных местах Восточной Сибири.

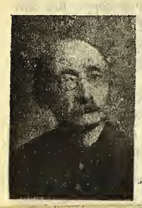
Для успешного выполнения этого смелого и рискованного плана было решено добиться возможности в жаркие дни гулять и после вечерней поверки (после 6 ч.). Для этого была подобрана соответствующая мотивировка и, после настойчивых переговоров с тюремной администрацией, нам это было, наконец, разрешено. Таким образом, в 6 ч. мы заходили в камеры, нас поверяли, а через 30—40 минут камеры открывались, и мы проводили вечера (до наступления сумерек) во дворе.

Никто не знал срока, когда кто должен быть освобожден, но по многим признакам можно было угадывать, что тот или иной заключенный подлежит освобождению.

Наступила и моя очередь, и тогда двое из старших (и по возрасту, и по стажу политическому и тюремному) товарищей предложили мне помочь одному «серьезному и крайне необходимому для революции делу», не об'ясняя, в чем оно заключается. Я согласился.

Товарищи эти были Виктор Николаевич Крохмаль и Николай Евграфович Бауман (погибший в Москве в 1905 году от руки черносотенца). Мне был дан пароль и предложено было по выходе на волю ждать указаний. Для того, чтобы товарищи, давшие мне поручение, были уверены, что я не раздумал и все идет так, как будет намечено, я—когда узнаю в чем заключается моя роль—должен буду пробраться в смежный с тюрьмою двор, принадлежавший жилицам нач. тюрьмы и его помощника и условным сигналом (у окна должен был дежурить кто-либо из товарищей, фамилии которых мне Крохмаль и Бауман перечислили) подтвердить свое согласие.

Вскоре, по выходе моем из тюрьмы, ко мне в Слободку явился студент тов. Пирадов, освобожденный приблизительно в одно время со мною, сказал пароль и об'яснил, что готовится побег 12-ти товарищей и—в чем должна заключаться моя помощь: я должен приобрести лодку, рыболовные снасти, а также бритву, ножницы и остальное для бритья и стрижки—товарищи после побега должны будут переменить наружность. (Для того, чтобы эта перемена



К. П. Янковский.

Родился в 1857 г. Вступил в кружек пропагандистов в 1874 г. Арестован в Одессе в 1887 г. Осужден на 10 лет каторги, каковую отбыл на Каре.



В. И. Сухомлин.
(Снимок 1886 г.).

Родился в 1860 г. Вступил в орг. „Народной Воли" в 1882 г. Судился в 1884 г. по делу Лопатина. Был осужден к смертной казни, с заменой на 15 лет каторги, каковую отбыл на Каре.



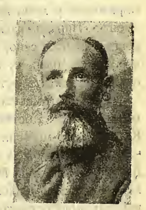
Н. А. Григорьева.

Родилась в 1865 году. Работница, портниха. Вступила в организацию „Народной Воли" в 1887 г. Судилась три раза за революционную деятельность. Просидела 8 лет в одиночном заключении.



А. М. Магат

Родился в 1860 г. Был выслан, как народоволец, в административную ссылку в Средне-Колымск.



Л. Л. Берман.

Родился в 1868 году. Вступил в орг. „Народной Воли" в 1884 г. Судился по „Якутскому процессу" в 1889 г. и присужден был к 8 годам каторги.

произошла резче, товарищи запустили себе громадную шевелюру). Все это должно быть наготове, а в условленный вечер я должен буду ждать в гавани, куда ко мне явится Пирадов с 4-мя бежавшими. Я буду их сопровождать всю ночь вниз по Днепру, с наступлением света постричь и обрить, и продолжать путь.

Как было условлено, я побывал у тюрьмы, знаками подтвердил Крохмалю, что все на мази (на окнах в то либеральное время можно было торчать сколько угодно), и не без волнения и трепета стал ждать приказа выехать в гавань. Наконец, желанный момент наступил. Не могу передать, как трепетало все мое существо, когда я, сидя в лодке в гавани, ждал условленного окрика. Наконец, слышу: «Захар!» Отвечаю: «давно тебя, сволочь, жду» И... к горькому разочарованию, кроме Пирадова—никого. Оказывается—неудачный вечер,—дело отложено на завтра. Таких завтра было, кажется, пять или шесть. Каждый вечер мы (я пригласил себе в помощь товарища гимназиста 7-го класса 5-й гимназии А. Горчакова) ездили в гавань, но всегда в тюрьме что-то мешало, и дело откладывалось.

А тем временем наступили лунные ночи. Пришлось побег отложить. Это было в июле.

Наконец, я получил (в августе, числа не помню точно, но кажется, 16-го) приказ быть в гавани.

Была звездная прекрасная ночь, когда после оклика «Захар», вместе с Пирадовым у моей лодки появился беглец, тов. Бобровский, по тюремному «моща». Пирадов наскоро распорядился, чтобы я его уложил на дно лодки, на приготовленное сено, укрыл плащем и ждал еще час, так как все бежали, но перепутали план, и, вместо четырех, явился к условленному месту один, и нужно подождать остальных, хотя у всех и имеются запасные адреса явок.

Прошел томительный час, но больше из беглецов никто не явился. С тревогой в душе за остальных неявившихся товарищей—мы отчалили от берега. Каждое мало-мальски подозрительное движение на берегу, свистки перекликающихся сторожей на судах, проплывающая мимо лодка, нас тревожили. Добравшись до дачи Марголина, мы немного успокоились и стали совещаться, как поступить дальше. Намеченный раньше план—плыть вниз по Днепру—решено было оставить, так как Бобровский местности совершенно не знал, я-же с товарищем не рискнул ехать до Кременчуга, боясь навлечь подозрение местной полиции, под надзором которой находился. Решено было укрыть тов. Бобровского в Долбинских зарослях, снабдив его, для отвода глаз, рыболовными принадлежностями, самим-же отправиться домой, а на другой день мне повидаться с Пирадовым и получить от него дальнейшие указания. Так и сделали. Свезли Бобровского в Долбинский залив, я проводил его к заросшему

лозняком и очеретом озеру и отправился домой в Слободку. От волнения и восторга, что побег все-таки удался, я не мог спать.

С разсветом поехали лодкой в Долбинское навестить Бобровского, которого застали в сильном волнении: во-первых, с наступлением утра он увидел чуть-ли не в двух шагах от себя город, а, во-вторых, его смущали раздававшиеся на лугу, невдалеке от его убежища, голоса мальчиков-крестьян, пасущих на лугу скот. Я с трудом успокоил его, об'яснив, что как «рыбак-любитель» ни малейшего подозрения он возбудить не может, что-же касается близости города, то это обстоятельство тоже не страшно, ибо поиски вряд-ли могут происходить на лугах.

К 11 часам я отправился на свидание с Пирадовым, которое состоялось в пивной на Фундуклеевской, против городского театра, в доме № 19 или 17—точно не помню. Там за «кружкой пива» мы уговорились, что ровно в 8 час 15 мин. я должен доставить Бобровского на Николаевский спуск ниже Цепного моста. Мы должны будем встретить там Пирадова на прогулке с барышней в экипаже и попросить взять к себе очень уставшего, после рыбной ловли, Бобровского. Здесь - же Пирадов успел шепнуть мне, что побег удался и бежали все (11 человек), кроме Сильвина, который не успел перебраться через стену благодаря поднятой тревоге. Посоветовал мне быть осторожным, так как вся жандармерия и тайная полиция на ногах. Каждый поймет мое волнение весь этот день. По возвращении из города я с Горчаковым поехал помогать Бобровскому ловить рыбу. Рыбная ловля наша была неудачной, мы не поймали ни одной рыбешки. Правда, я забыл приготовить червей или какой-либо другой приманки, и мы забрасывали удочки на «холостую», утешая себя мыслью, что если рыба не поддается нам на крючек, то и мы не попадемся на крючек друзьям-жандармам.

Самый напряженный момент наступил, когда нам пришлось проезжать мимо слободских пароходных пристаней среди бесчисленного количества катающихся на лодках. Но все обошлось благополучно: мы встретились с Пирадовым, совершающим загородную прогулку с прекрасно одетой дамой. Он любезно предложил свои услуги—и Бобровский покатил в город.

Мы с Горчаковым возвратились в Слободку, поставили на место лодку; отец подтрунивал над нами, что мы за целые сутки не поймали ничего—и отправились на Цепной мост (место прогулки слобожан). Можно себе представить мое удивление, когда после того, как я думал, что все окончено, я встретил на мосту еще одного беглеца, который с деланно беспечным видом направлялся с моим товарищем (по организации и тюрьме) слесарем Борисом Бронштейном в Слободку. На минуту остановились. Выяснилось, что и Бронштейн был привлечен в качестве пособника побегу. Но о том, что я тоже участвую

в этом деле, он не знал, так же, как не знал о нем и я. Беглец этот был тов. Тарсис-бундовец, еле говоривший по-русски и совершенно не знавший Киева (как не знали его многие из бежавших) и попавший в него прямо из арестантского вагона. Арестован он был где-то на границе и препровожден в киевскую тюрьму—почему-то сюда направили целую группу арестованных, не ведших работы в Киеве. Тарсису нужно было пересидеть где-либо в укромном месте, и Бронштейн решил поместить его у своих знакомых, правоверных евреев, под видом бедного еврейского учителя. В Слободке Тарсис пробыл несколько дней.

Впоследствии я узнал, что почти все бежавшие из «Лукьяновки» перепутали планы и мало кто из них попал в условленные места, где их должны были поджидать товарищи.

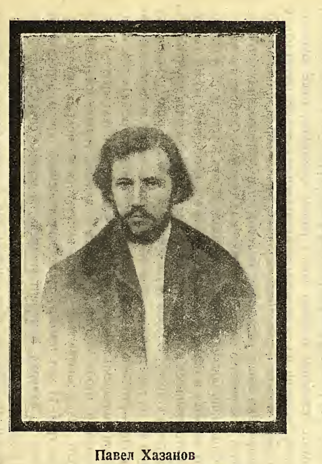
Случилось это оттого, что, как я сказал выше, почти никто из них не знал ни местности, где расположена тюрьма, ни города, вообще, а, главным образом, по той причине, что тревога и выстрелы начались раньше, чем это ожидалось. По этой же причине не бежал тов. Сильвин, очередь которого была последней.

Так или иначе, но никто из бежавших не был задержан, и все одиннадцать благополучно выбрались из Киева и только тов. Плесский, эс-эр, через 2 или 3 недели был арестован, кажется, в Екатеринославе и то—как ходили слухи (а впоследствии почти через год после побега, при моей встрече с ним на Ново-Николаевском этапе, по дороге в Якутку, он и сам мне подтвердил это)—по какому-то очень глупому поводу.

Постараюсь припомнить фамилии бежавших тогда товарищей: Бауман, Николай Евграфович; Гурский, Марьян Григорьевич; Крохмаль, Виктор Николаевич; Басовский (он - же Шрифтейсик); Бобровский (ветеринарный врач); Тарсис; Блюмельфельд; Радченко Степан Иванович; Плесский; Валах; Ногин. Насколько память не изменила,—кажется, не перепутал.

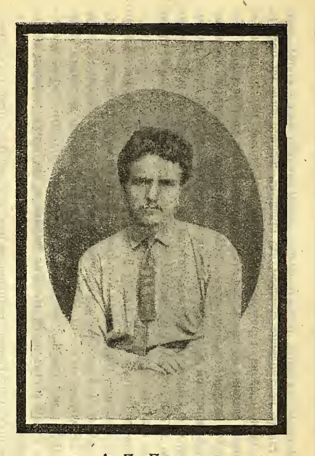
В конце остается познакомить читателей с самой техникой побега, о которой я впоследствии слыхал как от участников побега, так и от товарищей не бежавших, но находившихся в то время в тюрьме в «политическом корпусе», откуда и совершен был побег. А встречался я, как уже упоминал, с т. Плесским в Новониколаевске в мае 1903 года; с тов. Гурским в Киеве в 1906-м году; и с тов. Блюмельфельдом в Одессе в 1907 году. Больше никого из бежавших я не встречал, и судьба их мне неизвестна; только о тов. Ногине (вероятно, это он) я знаю, что он находится теперь в Москве, да промелькнула фамилия тов. Крохмаля в Совете рабочих депутатов первого созыва 17-го года.

Так вот—о самой технике:



Павел Хазанов

Террорист. В 1907 г. казнен в Екатеринославской тюрьме.



А. П. Павлов

умер в Смоленской каторжной тюрьме (см. стр. 120).

Как я рассказал выше, путем разных волынок заключенные добились прогулок до самого наступления сумерек. Из крепких, разрезанных на полосы, простынь, была сделана веревочная лестница, деревянные перекладины для которой были сделаны из палок для игры в городки (нам разрешенной). Железная кошка (якорек) была выкована уголовными арестантами, работавшими в кроватной тюремной мастерской, и (как я предполагаю), пронесена на политический двор старостой либо под летним пальто, которое он всегда носил на опашку, либо в корзине с провизией. Наконец, веревка для спуска со стены также была сделана из простынь.

Так как тюремная стена имела 5—6 аршин в высоту, то необходимо было приспособление, посредством которого можно было-бы зацепить кошку за конек ограды—к кошке и была прикреплена лестница для под'ема на стену и веревка для спуска со стены. Это приспособление, задолго до побега, было найдено в игре в «слона», заключающейся, как известно, в том, что из группы человек в 8—10 составляется высокая пирамида, на верху которой помещается один человек. Посредством такого «слона» и была зацеплена кошка.

В день побега дежурным помощником нач. тюрьмы был, кажется, Сулима. Он был любитель поговорить на высокие темы, в момент побега находился в одной из камер. Один из заключенных из «уважения» к начальству не вышел гулять, а остался развлекать его разговорами; корридорных надзирателей, под каким-то предлогом, напоили чаем с ромом и, конечно, тоже занимали разговорами; стоящий по ту сторону калитки, через которую проходили, с главного двора тюрьмы в политический корпус, равным образом, был некоторыми товарищами занят разговором (поговорить с «образованными чудаками» любило большинство служебного персонала тюрьмы). Оставался один часовой с берданкой, обязанность которого была стоять в углу двора и наблюдать, что делается в обеих его частях—западной и северной, но он также, пока подготовлявшиеся к побегу строили «слона», был отвлечен другой группой в северную сторону, а когда ему вздумалось, слишком рано, направиться в западную часть, где строился «слон» и товарищи уже начали перелезать по очереди стену,—это было предупреждено заранее предусмотренным способом: на него были наброшены мокрые простыни, в которые он и был завернут вместе с винтовкой; чтобы заглушить поднятый им крик, группа арестованных начала петь. Пока завернутому удалось выпутаться из мокрых простынь и сделать выстрел, 11 чел. были по ту сторону тюремной ограды, а остальные разбежались по камерам. В момент выстрела по веревке спускался Бобровский; он неудачно упал в ров и ушиб ногу, но, тем не менее, успел из него выкарабкаться и уйти. Бывший 12-м номером, тов. Сильвин бежать не успел, и разделил участь оставшихся в тюрьме, которым, понятно, пришлось про-

ститься с хартией «Лукьяновских вольностей» и пережить все прелести каторжного режима, наступившего в «Лукьяновке» после побега.

Нужно добавить, что каждый из бежавших был предварительно снабжен подложным паспортом и деньгами, а также и адресом, куда бы он мог зайти в случае, если не попадет в условленное место, в районе тюрьмы, где каждого кто-либо ждал. Надо полагать, что именно, благодаря этой предусмотрительности, побег вышел столь удачным и принес столько хлопот охранке и неприятностей небезизвестному генералу Новицкому, тогдашнему начальнику губернского жандармского управления.

Фамилия главного организатора побега мне известна не была. И видел я его, в период подготовления к побегу, один только раз, когда получал деньги на приобретение лодки; в 906-м году встречал его в Одессе—это был по професси врач и называли его «рыжим».

Вот все, что сохранилось в моей памяти об этом нашумевшем в свое время побеге одиннадцати из Лукьяновской тюрьмы.

С. НЕТЕСИН.

Из песен тюрьмы.

Мне снилось: плакала родная
Средь ночи чуткой тишины,
И одиноки были слезы,
И думы жгучие темны.
Мне снилось: тихо замирая,
Души задетая струна
Звенела жалобой бессильной,
Тоскливо плакала она.
Мне снилось: мучилась родная,
Томясь, меня звала она,
Но безучастно ночь молчала,
Угрюмо хмурилась стена.
Мне снилось: слушал я, рыдая,
Ее тоскливый, скорбный зов,
И в гневе бешеном метался,
И снять не мог своих оков.

Евг. БУРЛЯЙ.

Революционные силуэты.

1. Хрисанф Макаров.

История революционного движения не должна забыть Хрисанфа Макарова...

Народный учитель—таково его положение было до последнего ареста. Именно—народный учитель! Как к нему подходит это звание!

Окончив учительскую семинарию, он пошел в крестьянскую трудовую массу в качестве школьного учителя.

Крестьянскую массу он любил всем своим существом так, как может любить брат своего брата, свою сестру. Это была кровная связь, кровная любовь! Крестьянских ребятишек он любил, такими, как они есть: грязных, подчас грубоватых, вечно в лохмотьях, голодных и холодных. К ним он шел, как старший брат; шел для того, чтобы учить не только читать, писать, но чтобы научить их жить новой, лучшей жизнью, чтобы открыть им широкие горизонты этой новой жизни, чтобы вызвать к действию желание и волю получить, добиться этой жизни. И это с большим успехом он делал. Делал просто, легко, с полной верой и надеждой в успех своей работы.

Всегда сам веселый, жизнерадостный, полон физических сил, он заставлял быть жизнерадостными и своих учеников.

Он шел также и к взрослому крестьянскому населению.

И здесь он делал то же самое. Все свои знания, весь свой опыт он нес в крестьянскую массу. Будучи сравнительно молодым, он в то же время был очень вдумчив и серьезен.

— Тяжело, ведь, все-таки учительствовать в селе?—как то в тюрьме спрашиваю его.

— Что вы, что вы, Павел! Что может быть отраднее и благодарнее работы народного учителя? По мере моих сил, я учу крестьянских ребятишек, учу их отцов и матерей, учусь сам у них. Мы должны создать кровную связь с крестьянством, а для этого нужно непосредственно войти и осесть среди него, врости всеми своими корнями в него—таков был его ответ.

— Посмотрите,—продолжал он,—какая красивая, какая богато-одаренная крестьянская душа! Нужно ее немного, так сказать, помыть, почи-

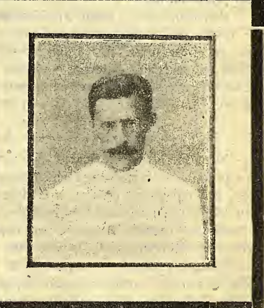
Шерешевская-Вайсбрейм.

Анархо-коммунистка. Казнена 15 ноября 1906 г. в Одессе.
(см. стр 39)





Группа политкаторжан в ссылке: село Манзурка, Верхоленского уез.
А. Сакова, Харченко и Скробун.
(Снимок 1913 г.).



Самуил Исаевич Файнберг.
(См стр. 113).

стить от случайно осевшей житейской пыли, нужно дать уму крестьянина духовную пищу, знание и развитие, и это будет красавец среди человеческой породы!

Городской жизни Хр. Макаров не любил. В город он шел лишь для того, чтобы расширить свои знания, чтобы освежить их. И это нужно было опять же для того, чтобы еще ближе подойти к крестьянству, чтобы быть более полезным.

Сын Забайкальских степей, он страстно любил свободу. Жить со скованными руками он не мог.

Долго он искал себя.

Где он только не был. Исколесил всю Сибирь, исколесил всю Евр. Россию. Сотни верст ходил пешком из города в город, из губернии в губернию.

Ходил он и в Ясную Поляну к Льву Николаевичу Толстому.

— Что вас туда потянуло?—как то спрашиваю его.

— Я, ведь, одно время был толстовцем. Потом увидел, что почва под ногами заколебалась. Пошел лично повидать и поговорить со своим учителем.

— Ну, и что же,—спрашиваю.

— Российская действительность оказалась лучшим учителем!—улыбаясь, закончил он.

Наконец, выбор сделан. Хр. Макаров идет в село учить жить и бороться за новую жизнь. «За Землю и Волю»,—таков сделался его лозунг. Из толстовцев он делается ярым социалистом-революционером. Борьба за царство труда, за социализм,—такова цель его дальнейшей жизни. Не оставляя учительской работы, он с головой погружается в подпольную, революционную работу.

* * *

Хотя мы последнее время (до каторги) работали и в одной области (Амурской), но встречаться приходилось довольно редко. Я по преимуществу, вел городскую работу. Хр. Макаров исключительно деревенскую. Летом 1908 года произошел очередной разгром организаций партии соц.-рев. в Восточной Сибири. Политический корпус Благовещенской тюрьмы был переполнен арестованными. Прошло еще несколько месяцев, и были частично разгромлены сельские организации. В один из осенних месяцев в тюрьму была доставлена группа сельских учителей. В числе их был и Хр. Макаров. С этого времени наше знакомство переходит в личную дружбу. Лишь в тюрьме я познал ту глубину души и сердца, какая была у этого социалиста и революционера! Здесь же я узнал, что у этого бесконечно доброго и мяг-

кого человека стальная воля и железная энергия, когда этого требуют интересы революционной борьбы.

Ниже среднего роста, довольно плечист, почти всегда с доброй, мечтательно-веселой улыбкой на лице; всегда спокоен. Зимой и летом, в свободные часы много занимается гимнастикой. На редкость крепкого телосложения и развитой мускулатуры. Больше любил уединение. Всегда с книгой в руках.

Жизнь Хр. Макарова была вообще очень сложная и интересная, как до тюрьмы, так и в самой тюрьме. Трагическая смерть завершила его тернистый путь.

Не мог он примириться с неволей. Месяц шел за месяцем. Приближалась весна, а вместе с ней и время вр. военно-окружного суда (вместо военно-полевого), куда наше дело уже было передано. Мы были однопроцессники.

Весна! Какое дивное время года! Какое жгучее желание быть свободным вызывает она у заключенных! Один цветок, одна зеленая веточка сколько дает радости заключеным!

Хр. Макаров решил бежать, бежать во что бы то ни стало. Готовился из тюрьмы массовый побег политических, но все планы рухнули. Подкопы провалились. Военная организация, которая должна была послать военный караул к тюрьме членов организации и способствовать побегу, была разгромлена. Руководители и более активные работники были уже арестованы. Каждому предоставлялось право на свой риск и страх попытаться уйти туда, куда так сильно, сильно манило прелестное весеннее солнце.

И он ушел. Смерть—неволе он предпочел. Судьба подарила ему жизнь. Это был его третий побег. И каждый раз он уходил и при самых невыгодных условиях. Первый раз—из одной тюрьмы юга России; второй раз—из-под военного конвоя на ст. Хабаровск.

Но насколько блестяще он уходил из тюрьмы, настолько плохо складывались обстоятельства на воле. Он опять попадал туда же.

* * *

Судился он много позже своих однопроцессников. Нашей новой встрече суждено было произойти в Нерчинской каторге—в Алгачинской тюрьме. Я прибыл из Акатуя весной 1911 года. Макаров прибыл в числе других тридцати товарищей из Зерентуя зимой 1910—11 г. Эта переброска заключенных была сделана в связи с самоубийством Е. С. Сазонова. В этой группе было много личных друзей Сазонова. Эта группа до прихода нашей партии уже пережила в Алгачах ряд тяжелых испытаний. Товарищи уже провели 13—17-дневную голодовку. Большинство голодало 13 дней; некоторые

дольше, а Хр. Макаров прекратил на 17 день. Первые дни нашей новой встречи я его мало узнавал, так как он физически подался. Кажется, при одной из первых мимолетных, как это бывает иногда в тюрьме, встреч, он взволнованно проговорил: «мне нужно поскорее с вами поговорить по душе».

Встреча скоро состоялась. Озабоченное лицо. В глазах блестят слезы. Нет и следа обычной улыбки. Временами вздрагивает.

— Что с вами, голубчик?

— Родной, дорогой,—осыпал он меня словами,—помогите мне, ради всего святого, разобраться в том, за что некоторые из товарищей готовы меня упрекать!...

Тюремщики угрожали применить телесное наказание. Состоялось молчаливое соглашение, между группой товарищей ответить на угрозу актами самоубийства. В числе их был и Макаров. Ждали ночи. Первый это сделал тов. Калюжный. В средине голодовки, уже порядочно обессилевший, он вскрыл себе вены. Товарищи находились в общей камере. Истекая кровью, он мучился в предсмертной агонии. Временами сознание к нему приходило. И вот он обращается к товарищам с мольбой помочь ему скорее уйти туда, откуда нет возврата. Он слабо вскрыл себе вены. Не было достаточно физических сил для этого. Камера переживала величайшие испытания, величайшие мучения. Ни у кого рука не поднялась исполнить мольбу тов. Калюжного.

— Я сделаю,—сказал Хр. Макаров. Во взглядах товарищей он увидел их согласие. И он это сделал. Тем же кусочком ножичка он помог ему вскрыть вены более глубоко.

Первый случай самоубийства, очевидно, в известной мере подействовал на местную тюремную администрацию. Если не официально, то приватно стало известно, что тюремщики готовы пойти на уступки. Ситуация борьбы делалась иной. Некоторые даже стали верить в полный успех данного протеста—голодовки. Администрация решила не применять инструкций Главного тюремного управления, а лишь ввести некоторые ограничения.

По существу оно, конечно, так и было. Некоторые же из товарищей по камере, правда, очень, очень немногие склонны были упрекнуть Хр. Макарова в том, что он не выполнил своего намерения. Это ему стало известно после того, как он прекратил 17-дневную голодовку. И его это мучило. Совершенно разбитый физически, он крайне болезненно воспринимал это. Он не находил себе покоя.

Обстановка смерти тов. Калюжного произвела, конечно, потрясающее впечатление. Некоторые из товарищей полагали, что вслед за смертью тов.



В одной из политических камер Александровской центральной каторжной тюрьмы.

1. Капшицер, 2. Лагунов. Потехин, Бродский, Щунин, Мельников, Козюра и Проминский.

(Снимок 1916 г.)



Группа политкаторжан прибывших в ссылку: село Баяндай, Верхоленского уезда, Иркутской губ.

× Ушерович; ×× Эпельман (см. стр. 52). Кийман, Ильинский, Рая Гуревич, Двинский и др.

(Снимок 1914 г. Январь).

Калюжного последует и самоубийство Хр. Макарова. По окончании голодовки кое-кто из товарищей это и высказал.

— Вы меня хорошо знаете; вы мне должны верить.

— В условиях тюремной жизни наша борьба больших результатов дать не может. Нужно бороться на воле. Если реакция охватила всю Россию, если сейчас мы не слышим о широкой активно-революционной борьбе, с самодержавием, то нужно хотя бы повести борьбу за улучшение положения заключенных. Я решил бежать. Свои последние силы хочу отдать этой борьбе. На издевательства над узниками политическими, мы должны ответить террористической борьбой против высших чинов Главн. тюремного управления и департамента полиции, в чьих, фактически, руках находится жизнь товарищей. Я выполню решение партии.

Лицо его вновь оживилось. Я его слушал и думал: «да, он это сделает»...

— Но, ведь, бежать из Алгачей совершенно невозможно,—пытаюсь я сказать.

— Или меня убьют, или я все-таки уйду,—решительно отвечает он.

И он ушел. В эти годы побег из Алгачей был немыслим для политического заключенного. Об этом побеге скажу в другой раз. Отмечу лишь—наша помощь была крайне незначительна. По плану побега я должен был с другими пятью товарищами отвлечь на несколько минут внимание тюремщиков.

Под градом пуль нескольких десятков солдат конвойной команды и тюр. надзирателей, Хр. Макаров на виду у нас быстро пробирался в горы.

Долго он скитался по Забайкальским горам. Летняя погода, знание местного края (он ведь Забайкалец) помогли ему выбраться к линии железной дороги.

Но судьба не дала ему отомстить за муки и гибель товарищей. В Благовещенске он был опять, уже последний раз, арестован. Получив по суду новый срок со дня побега, он был отправлен на ту же Нерчинскую каторгу.

Потянулись тяжелые месяцы и годы. Тюремщики, мстившие ему за побег, усугубляли его страдания.

В конце 1913 года я ушел на поселение в Якутский край. В конце, кажется, 1916 года до Якутской ссылки донесся глухой слух о смерти Хр. Макарова: не то убит, не то покончил самоубийством. Лишь недавно от товарища по каторге, Ланде, мне удалось выяснить это. Хр. Макаров переводился из одной тюрьмы в другую. В пути у него было крупное столкновение с конвоем. Ему грозили насилием. Ночью, когда утомленная переходом партия спала, он повесился.

2. Петр Рычков.

Революция 1905 года застала П. Рычкова в Приморской Области. Он был один из деятельнейших ее участников. Все свои силы он нес безоговорочно на алтарь революции.

Зарево революции, так ярко, на один миг, блеснувшее, и осветившее от края до края всю Россию, начало быстро, быстро тускнеть. Многие из нас еще не успели совсем вылезть из подполья, как двери его вновь открылись. Каждый должен был найти свое там место.

Было это место и у Пети Рычкова. Как это теперь ни странно, но подполье ему больше улыбалось, чем «надполье». Он совершенно не верил, что в рамках даже самой «настоящей конституционной монархии» может иметь свое место вполне легального существования, революционно-социалистическая партия. Такое положение требует известных компромиссов. По своей же природе он был крайне прямолинеен; он не хотел, он не мог примириться с жизнью, покоящейся на компромиссах.

И он остался верен себе до последнего момента своей жизни.

Ниже-среднего роста. Всегда спокоен. Грустные, глядящие вдаль, добрые глаза. Таким я его помню по нашей первой встрече. Это было на закате первой революции. Служил он тогда на одном из пароходов Амурского бассейна (на Дальнем Востоке) в качестве помощника капитана речного парохода. Работал по преимуществу в Хабаровске. Временами бывал и в других соседних городах.

В 1906—1907 годах по всей России, широкой волной, прокатилась террористическая борьба. Боевые организации партии социалистов-революционеров наносили один за другим удар самодержавию. К этой борьбе влекло и П. Рычкова.

По одному из таких дел однажды он явился в Благовещенск. Убежденный соц.-рев., активный работник партии, он в то время горел, именно горел желанием отдать свою жизнь революции. Массовые расстрелы участников революции, не давали ему покоя. Порой он чувствовал угрызения совести. Ему казалось, что вина лежит на всех работниках, что товарищей, попавших в неволю, можно вырвать из рук самодержавия. И он готовился...

Но... агенты Николая Романова тоже не дремали. Разгром подпольных организаций шел один за другим. И в числе других товарищей Петя Рычков попадает в тюрьму, а немного позже, как бессрочный каторжанин, в Нерчинскую каторгу, первоначально в Акатуй, а позднее в Зерентуй и Кутомару.

Летом 1910 года двери Акатуевской тюрьмы закрылись за мной. Кандальная камера № 2. Опять новые встречи. Здесь много знакомых и незнакомых товарищей; среди них и П. Рычков. Подавляющее большинство среди моих новых сокамерников—бессрочники. Скоро я осваиваюсь в новой обстановке. Получаю место на нарах по соседству с П. Рычковым. Каждый день, каждая неделя, проведенная вместе, нас все больше и больше связывала дружбой.

И здесь—те же грустные, глядящие далеко-далеко вдаль, глаза; та же вдумчивость и крайняя принципиальность; та же одухотворенность и жажда бороться до конца.

Я помню, что всякий раз, как только общекамерное собрание склонно было принять компромиссное решение по тому или другому вопросу, П. Рычков переживал мучительные минуты. В таких случаях, он своими крайними предложениями пытался уравновесить, как он иногда в беседе говорил, революционные стремления товарищей. Делая крайние предложения, он таким путем надеялся, что большинство наших сокамерников не остановится в своем решении на «золотой середине», как это обычно бывает, а займет, по данному вопросу более радикальную позицию. Обычно обсуждение вопросов тюремного общежития в конечном итоге сводилось к форме протеста против какого-нибудь «новшества» власть имущих вообще, местной тюремной администрации, в частности.

Он был «вечник»! Вечник! Вдумайся, читатель, в это маленькое слово! Сколько оно таит в себе смысла! Сколько трагедий оно дарит тому, кто имел честь носить это название! Многие годы ножные и ручные оковы (по закону царского времени—8 лет. ножные, 4 г. ручные), а потом... тюрьма, тюрьма и тюрьма до неизвестного времени, а, быть может, и до самой смерти.

«Столыпинский галстук» (виселица) довершал свое дело. Революция была жесточайше подавлена. Царское правительство принялось за кровавую расправу над узниками. Думать, надеяться, что вот-вот революционная Россия встанет на защиту поруганных своих прав и этим протянет руку заключенным, облегчит хотя бы их положение, почти не приходилось. Перед узниками все определеннее и определеннее вставал вопрос—защищать себя своими силами, теми средствами, какие были в их распоряжении. А средств, а, тем более, решительных, было слишком мало. Уж очень не равны силы были! Уж очень много было отнято сил физических и моральных! И перед многими вставал роковой вопрос—ценою собственной жизни купить товарищам право на человеческое существование, хотя бы и в рамках тюремной жизни, отстоять свою честь, а себе купить вечный покой! Порой, тепли-

Группа политкаторжан в пути следования в каторжные централы.

(Снимок 1907 года).



1) Рабинович с.-д.; 2) Зайденвурм, с.-д.; 3) Шульц. с.-д; 4) Исаев, с.-р.; 5) Горнштейн, с.-д; 6) Станчинский, с.-д; 7) Рубин, с.-д; 8) Сенельников, а-к; 9) Серг, с.-д.; 10) Мощенко,. с.-д.; 11) Грек, с.-р.; 12) Мур, покушавшийся на жизнь Одесского градоначальника, умер в Бутырке; 13) Лев, с.-д., убит в Тюмени; 14) Димиденко, с.-д.; 15) Махлис, убит в ссылке; 16) Эрактянц, максималист; 17) Горвиц; 18) Френк; 19) Гласиянц; 20) Крамаров; 21) Плесков; 22) Подушко и другие.

лась надежда—а, может быть, проснется совесть российских граждан! А, быть может, прекращающийся биться пульс, застывающая в жилах кровь, всколыхнет временно успокоившуюся революционную Россию!.

И одним из первых к этим выводам приходит Петя Рычков. Еще в Акатуе—в 1910 году—он говорил: «я готов»! И на-ряду с этим сколько было в нем жизни! Сколько было чуткости, сколько было, я бы сказал, душевной и сердечной нежности! Я не был «вечником»; я был срочным, но я его понимал.

Хотелось бы мне вспомнить еще один штрих из жизни П. Рычкова. В то время в Нерчинской каторге, но только в Зерентуйской тюрьме, находился его друг юности и товарищ по партийной работе Маслов. Оба они жители Дальнего Востока. И я помню, как часто П. Рычков высказывал свое сильное желание попасть в ту же тюрьму, где сидит Маслов. Жестоко, но судьба исполнила его желание.

В конце 1910 года нас, акатуевцев, стали переводить в другие тюрьмы. Акатуй предназначался для женщин-каторжанок.

Большинство из нас попало в Алгачи. Петя Рычков в числе других—в Зерентуй, а позднее в Кутомару. Здесь он последние месяцы своей жизни провел вместе с Масловым. Здесь они нашли свою братскую могилу. Это было в июне 1912 года. Я позволю себе последние минуты их жизни передать словами тов. Е. Коткина *), очевидца их смерти:

— Посреди камеры, в луже крови, лежали т.т. Рычков и Маслов. Они приняли морфий и одновременно перерезали себе вены, так как не совсем надеялись на доброкачественность принятого яда. Маслов был в агонии и слегка хрипел, Рычков, время от времени, бился закованными ногами о пол. Возле него сидел и судорожно рыдал еще совсем молодой тов. И.

«Степа, держи!»—обращается к нему еще не потерявший сознания, т. Рычков.

Тов. И. покорно наваливается всем своим туловищем на его ноги. Нужна предосторожность—услышат, помешают....

И он ушел от жизни этой...

Ушел, оставшись себе верным и последовательным до конца. Он узнал, что его однокамерник, товарищ Б., наказан розгами. Он не мог дальше молчать. Он заговорил языком своей собственной крови и невероятных мучений!

П. ПИВОВАРОВ.

---

*) Е. Коткин. „Шестнадцать дней". Каторга и ссылка № 2, изд. об-ва быв. политкаторжан. Москва, 1921 г.

Памяти дорогих мертвецов.

I. Моня Файнберг.

Самуил Исаевич Файнберг—эс.-эр. областник, пятнадцатилетний каторжанин, по выходе из тюрьмы снова отдался революции всем своим существом. Больной и изнуренный от долгих лет каторги, он забывает себя, уходит в революцию, творит ее по городам и селам Сибири, будит крестьянство—зовет строить новую жизнь. Сын богатых родителей, он презирает это неправдой нажитое богатство, рвет с деспотом-отцом.

Его революционная деятельность начинается с 1905 года, в 1906 г. — Моня сидит в киевской тюрьме; освободившись вступает в боевые организации севера, приобщается к делу покушения на военного министра Редигера и идет на каторгу. На каторге он был прекрасным товарищем; всегда далекий от склоки, серьезный, вдумчивый, сердечный—Моня (как его называли друзья в тюрьме и на воле) был всеми любим.

1918 год. Чехо-словацкая контр-революция свергает по Сибири Советскую власть; за чехами приходит Колчак. Злейшая реакция колчаковщины вынуждает Моню уйти в подполье, он «странствует» по селам, готовит повстанцев против Колчака, организует рабочих черемховских рудников.

Осенью 1919 года Моня снова в Иркутске и, совместно с другими, действуя медленно, но твердо, разбирает, кирпич за кирпичем, хрупкое колчаковское здание.

Ясно вижу пред собою истомленную, чуть сгорбившуюся, в потрепанном пиджачке, фигуру Мони. Он говорил мало, но делал много. В разгар разнузданной колчаковщины Моня приносил воззвание за воззванием, пояснял, какими шрифтами набрать, какое количество и в какой срок изготовить.

— Возьмите одну, на четвертушку писчего, корпусом, две тысячи, на завтра.

Не будучи печатником, он хорошо знал печатную технику. Спокойно, быстро, деловито—Моня пояснял. И, подняв свои грустные глаза, он доверчиво спрашивал: «будет?» Получив утвердительный ответ, Моня уходил до следующего дня. Отпечатанные груды летучек против колчаковской «дина-

стии» Моня забирал, раздавал, сеял по городу, окраинам, по селам и войскам.

Рождественские дни 1919 года. Колчаковская свора побеждена восставшими рабочими и крестьянами, под руководством «Политического Центра».

Моня становится одним из преданнейших делу ликвидации остатков колчаковщины...

С. Файберга не стало. По одним версиям он умер от туберкулеза, по другим—погиб в гражданской войне.

II. Петр Старостин.

Это имя хорошо известно в рабочих кругах Питера, Одессы, Иркутска и др. городов. Рабочий от станка, токарь по металу—Петр Старостин (Петя) рано приобщился к революционной деятельности. В 1904 году он работает на обуховском и других заводах, организует рабочие кружки, являясь прекрасным агитатором-пропагандистом.

Гапоновское движение захватывает Петра и со всем своим революционным пылом Старостин ведет за собой стотысячную массу. С выявлением Гапоновской провокации Старостин, спасая свою жизнь, уходит в подполье. С того времени его революционная деятельность проходит в различных городах Юга и Севера: он арестовывается в Киеве, освобождается и снова подвергается аресту с последствиями—ссылкой в Сибирь на поселение. Сослан он был в Енисейскую губернию, Енисейского уезда, Бельской волости. Здесь Старостин снова проявляет инициативу, группирует вокруг себя всю политическую ссылку, организует ряд коллективных мастерских (артелей ссыльных), являясь в них не только организатором, но и рядовым станковым работником. С устройством мастерских ссылка, терпевшая материальные невзгоды, немного пришла в себя, наступило относительное материальное благополучие для всей колонии.

Но для Старостина этого было мало, ему нужен был простор, фабрика, завод—нужна была масса, и он, стремясь к ней, бежит из ссылки, рискуя волей. Он бежит на Кавказ, в Баку.

Здесь он, с фальшивкой на руках, устраивается на заводе «Меркурий». Забывая себя, он снова творит революционное дело... Но вскоре его арестовывают опять, отправляют этапом в Красноярск и, за побег с поселения, дают ему 3 года каторги. В каторжных тюрьмах, в том числе в Александровской, Старостин всегда на страже коллектива политических и, когда

нужно защитить его от нападок администрации, не отстает от участия в тюремных протестах и обструкциях.

В 1913 г. он кончает каторгу, высылается снова в ссылку, в балаганский уезд, иркутской губернии. Он снова бежит—в Черемхово (под Иркутском) и там, на каменноугольных копях, быстро организует горняков, и, под его руководством, блестяще проходит забастовка шахтеров. Но враг не дремал, за Старостиным началась слежка, погоня; спасаясь от нее он «эмигрирует» в культурный, населенный ссыльными, центр—в Иркутск. Здесь, связавшись с иркутским пролетариатом, Старостин продолжает свое революционное дело. Большевик, он группирует вокруг себя рабочих всех революционных оттенков, готовя из них активных борцов-революционеров. Малограмотный, Петя не писал статей—но читал лекции: он хорошо знал историю революционного движения в России и на Западе; его называли «ходячей революционной энциклопедией».

Его твердый громовой голос приковывал внимание самых отсталых рабочих. Старостина охотно слушали, Старостину верили, за ним шла масса. Приходя по субботам на квартиру «генеральши», где происходили собрания, Старостин, в своих речах, учил собравшихся быть революционерами. Провокатор Рыжева зажала рот пролетарскому трибуну—Старостина начали преследовать и он бежал на этот раз в Забайкалье. Жандармерия и там его находит. Снова арест, тюрьма, этап, ссылка. Переночевав в деревне, Старостин снова бежит в Иркутск и здесь, в октябре 1916 г., в столовке печатников, вокруг которой группировались политически активные ссыльные, он об'единяет вокруг себя все живое, революционное. Уже чувствовалось приближение революционной грозы. На одном из собраний Старостин настойчиво предлагает образовать «Союз иркутских рабочих» *). В этот союз, по мнению Старостина, должны были входить все революционеры, независимо от их партийных воззрений, и в самом союзе группироваться по фракциям. Главная же цель союза—организовать иркутских рабочих, чтобы не быть им застигнутыми врасплох наступившей революцией. Союз образовался. В него вошли революционеры всех фракций, кроме анархистов, отказавшихся туда войти.

Петр Старостин был душой этого союза. Ближайшим его помощником являлся Сергей Лебедев. Эти два друга, не зная устали, презирая опасность, являлись на заводах, фабриках, мастерских. Там они шлифовали пролетарскую мысль, готовили пролетариат к революционным боям.

И февральская революция 1917 г. застала Иркутск подготовленным. Неутомимый Петр Старостин работал день и ночь—вначале в Комитете обще-

*) Вместо разгромленного жандармерией „Союза сибирских рабочих".

ственных организаций, потом в иркутском Совете Р. и К. Д., в Ц. Б. профсоюзов, в партии.

Летом 1917 г. Старостин перебрасывается в Одессу, где является одним из активнейших членов большевистской организации. Надвигалась контрреволюция. Зашевелились гайдамаки на Украине. Старостин группирует вокруг себя и партии красную гвардию, подготовляя ее к борьбе с гайдаматчиной за власть Советов.

В кровопролитных боях на улицах Одессы в конце декабря 1917 г. Старостин выступает одним из руководителей вооруженных рабочих отрядов. Он непосредственно руководит боевыми операциями в некоторых районах города, вместе с красной гвардией он всегда на посту, не выпуская винтовки из рук.

Гайдамаки сдались. Образовавшаяся Советская власть в Одессе, во главе с т. Раковским, выдвигает Петра Старостина на пост комиссара труда. Энергичной и твердой рукой ведет Старостин свой комиссариат; работает необычайно много; он не знает официальных часов «от 10 до 4-х»; он открывает свой комиссариат в 8 ч. утра, сидит в нем до поздней ночи. Работая в убогой обстановке, в комнате, переполненной посетителями, за простым кухонным столом, он никого из обращавшихся к нему не отпускал без ответа, совета, наставления.

Наступление немцев на Украину и Одессу решило судьбу и Петра Старостина. Он пал от руки провокатора.

III. Сережа Лебедев.

Сережа Лебедев, сосланный (из Петербурга) на поселение в Восточную Сибирь, вскоре поступает на работу по своей специальности—печатником. С 1914 г. образуется вокруг него группа политически-активных иркутян и ссыльных, он создает общество «Знание», где по субботам устраиваются лекции, собеседования и т. п. Об-во «Знание», существуя легально, имея утвержденный губернатором устав, фактически являлось местом сбора политической ссылки. Наряду с энергичной деятельностью вокруг об-ва «Знание», Сережа принимает участие в организации ряда профессиональных обществ и союзов, легальных и нелегальных; не менее энергично действует он, проводя ряд экономических забастовок.

Являясь корреспондентом газеты «Путь Правды», он в то же время собирал подписку и в большом количестве распространял газету по различным предприятиям Иркутска.

Ряд провалов местных организаций с.-д., с.-р., анархистов и общества «Знание» вынудило Сергея уйти на некоторое время в подполье. Но филера за ним зорко следили. Сергей был конспиративен до мелочей и не мог не заметить этой слежки. Однажды Лебедев, делая вид, что не замечает шедшего по его пятам филера,—заманил его в глухой переулок и, вместе с другом своим, так ловко «угостил» палкой, что тому пришлось отказаться от своей роли в Иркутске.

Чрез некоторое время он возвращается к работе и, вместе с Старостиным, продолжает дело организации иркутского пролетариата. Сергей Лебедев и Петр Старостин заложили фундамент «Иркутского союза рабочих» незадолго до февральской революции, с наступлением которой Сережа возвращается в Петербург, и отдает все свои силы на дальнейшую борьбу с остатками царизма и буржуазией. Отстаивая каждую пядь революционных завоеваний, он организует в Иркутске красную гвардию, становится ее начальником и остается им до момента захвата города чехо-колчаковцами. Наступившая черная реакция 1918 года вынуждает Сергея скрыться из Иркутска. Скитаясь по окрестностям Иркутска зимой, без теплой одежды, он обморозил себе ноги. Колчаковскими агентами Сережа был подобран и отправлен в иркутскую тюрьму.

В то время террор колчаковцев дошел до апогея: достаточен был только намек на «большевистский дух», витающий вокруг арестованного, как следовал военный суд с финалом: смертная казнь через повешение или 20 лет каторги.

Оставшиеся на свободе друзья Сергея были обеспокоены его судьбой, они знали, что казнь неминуема: его дело находилось в руках военного следователя, знавшего, что Лебедев являлся организатором и начальником иркутской красной гвардии. Началось паломничество друзей Сергея к тогдашнему управляющему иркутской губернией, колчаковскому ставленнику, б. правому эсеру П. Д. Яковлеву, с ходатайствами о его содействии в оттяжке самого процесса, поскольку смертный приговор был неизбежен. Отмороженные ноги мучали Сергея, ему сделали операцию, ампутировали одну ногу, он еще серьезнее заболел. Помучившись недолго, окруженный врагами, Сергей Лебедев умер в тюрьме, за несколько месяцев до падения Колчака.

Петр Старостин и Сергей Лебедев—два друга; в их лице рабочий класс потерял двух преданнейших, активнейших борцов за идеалы трудящихся, за Коммунизм...

IV. Юзя Добромыльский.

Родом из Кишинева, сын врача (Добромыльского-Малиновского) он на шестнадцатом году остается сиротой при матери. Тяжелая материальная нужда срывает Юзю со школьной скамьи и бросает к печатному станку—наборщиком.

Потемкинские события в Одессе уже застают Юзю рабочим-подпольником; он идет из фабрики на фабрику, из мастерской в мастерскую, снимает рабочих с работы, призывает к общей политической забастовке. Преданный делу революции, он не входит в рассуждения кому помочь: с.-д., с.-р., бунду, а.-к. и т. д. Как подпольник печатник, он всем был нужен и никому не отказывал. «Поскольку есть на летучках лозунг: «долой самодержавие», — значит, помочь надо; революция победит—тогда и разберемся, кто является истинным защитником рабочих». Так говорил Юзя, когда друзья его обвиняли в беспринципности.

Осужденный в каторгу по делу анархо-коммунистов на 15 лет, он ее отбывает в одной из забайкальских тюрем. Февральская революция дает ему возможность выйти на волю. Он определяет свое отношение ко всем политическим группировкам и официально переходит в ряды коммунистической партии. Декабрьское юнкерское восстание в Иркутске (1917 г.) застает Юзю комиссаром ст. «Чита», откуда семеновцы вынуждают его эвакуироваться в Иркутск. Здесь Юзя, будучи прикомандированным к чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, принимает участие в подавлении восстания юнкеров. С захватом чехами всей сибирской магистрали, вплоть до Иркутска, свержения Советской власти в Иркутске и воцарения, вслед за чехами, Колчака,—Юзя вынужден скрыться на некоторое время из города. Но горячий темперамент Добромыльского толкает его обратно в Иркутск, к друзьям, к борьбе против колчаковщины. Возвратившись в город, он, презирая опасность, не слушается советов друзей, выходит на улицу днем, и, узнанный забайкальским казачьим офицером, арестовывается.

Колчаковский суд состоялся летом 1919 года и приговорил Юзю к 20 годам каторги. Обычно, «опасных большевиков» колчаковцы после суда отправляли в Екатеринбург, на распоряжение генерала Гайды. Продержав в тюрьме или в теплушках на станции, некоторое время, арестованных либо освобождали, либо отправляли в стан Семенова, на его, Семенова, усмотрение. Такие отправки означали верную смерть.

Юзя был отправлен в Екатеринбург. Жена его, прибыв туда-же, и обратившись к офицеру штаба Гайды с расспросами о судьбе мужа, получила «раз'яснение», что она должна искупить грехи мужа своим телом.

Полные теплушки с колчаковскими пленниками (осужденными и следственными) осенью 1919 г. были отправлены из Екатеринбурга в Читу, в стан атамана Семенова; а там, без следствия и допросов,—пленники были расстрелены из пулеметов.

В «эшелоне смерти» (как тогда назывались эти теплушки) был и Юзя Добромыльский *), разделивший участь всех трагически погибших от руки колчако-семеновцев.

С. УШЕРОВИЧ.



*) В 1906—8 г.г. квартира семьи Добромыльских, в Кишиневе, по Боюканской улице, служила местом конспиративных явок для анархо-комунистов и др. революционных групп. В данное время мать и сестра Добромыльского находятся в Николаеве (Херсонщина), живут в нужде. О гибели Юзи знает только сестра (С. У.).

Синодик русской революции.

А. П. Павлов

Тов. Алексей Павлович Павлов, сын псковского крестьянина, был приговорен в 1907 г. одесским в.-о. судом, по одной из «военных» статей, за оскорбление офицера действием, к смертной казни, которая ему, вследствие несовершеннолетия, была заменена 20-летней каторгой. Из Одессы он был выслан в Москву, а из Москвы — в Смоленскую вр. кат. тюрьму, где он и умер от туберкулеза легких незадолго до февральской революции.

К сожалению, в нашем распоряжении нет никаких материалов о его работе до ареста. Возможно, что он ни к каким партиям и не принадлежал, но его импульсивная натура органически восставала против всякого гнета и насилия; этот импульс, эта революционная интуиция привела его, 19-летнего мальчика, на каторгу.

Мы, знавшие его в тюрьме близко, полагаем, что совершенно случайно, из личных симпатий, он считал себя с.-р. Присущего тогдашним его товарищам по партии символа непогрешимости он не разделял. В тюрьме он много читал вообще, по теории марксизма в частности. Тюрьма для него превратилась действительно в «Романовский университет».

Несмотря на долгий срок, он деятельно «вооружался» возможными знаниями, готовясь к революционной работе. Он глубоко верил, что выйдет на волю и отдастся работе «по настоящему».

Кто, зная А. П., мог подумать, что этого полного здоровья и энергии широкоплечего, стройного, высокого парня, с симпатичным «русским» лицом, освещенным всегда привлекательной улыбкой, сломит палач царских тюрем— туберкулез...

Всегда отзывчивый, готовый от всякой несправедливости защитить своих товарищей, он был постоянным участником тюремных протестов.

Всем знавшим его, жившим с ним в тюрьме, он внушал бодрость, веру в будущее. Легче сиделось, являлась глубокая уверенность в победе,—многие это помнят.

В А. П. мы потеряли не только хорошего товарища, но и искреннего революционера.

Г. К.

Т. Козлова.

Много их было. Им имя легион. Ярко, глубоко до боли, живут они в душе. Из темных времен насилия и пыток встают они незабвенными, живыми, светлыми тенями...

Т. Козлова была арестована в 1910 году. Она была земской учительницей. Все свои силы, весь свой досуг она отдавала крестьянской бедноте. Легально—она вела народные чтения, распространяла дешевые издания, покупавшиеся на свой грошовый заработок, дежурила у больных и лечила их, в страдную пору устраивала нечто вроде детских ясель, работая на два фронта: уча более взрослых и нянчась с малютками. Нелегально—она стояла во главе организации подпольных кружков, разбросавшихся по целым уездам Бессарабской губернии, с партийным центром в г. Кишиневе. Т. Козлову всегда видели суетившейся, хлопотливой, озабоченной.

Она была олицетворением подвижничества, человеколюбия, беззаветного самопожертвования. Каждая личность в ее переживаниях была святыней, чем-то божественным. Идеалистка в жизни, она в высшей степени бережно относилась к людям и их взаимным отношениям. Каждый ее жест, каждое слово были проникнуты любовью ее большой души.

Самокритика, самоанализ были в ней сильно развиты. Вечно контролируя себя, она была сама над собой и судья и палач. Много требовала она от себя, но того же не требовала от других: к «другим» она была любовно-снисходительна.

Арест ее произошел в городе Кишиневе, после того, как по некоторым конспиративным обстоятельствам она принуждена была переменить место жительства и службу—в Кишиневе она заведывала городской библиотекой. Примкнув к лево-эсеровской организации, она по прежнему держала тесную связь с деревней, со своими «учениками», как она их называла. Находясь под арестом и желая предупредить аресты членов кружков и их руководителей, она отправила на волю записку. Непосвященному в дело эта записка ничего не говорила и не могла сказать. Но происходили в то время массовые аресты и повальные обыски, и записка—чуть-ли не выходя из тюрьмы—«провалилась» и попала в руки жандармерии. Этого было достаточно, чтобы был арестован ее адресат. И был он препровожден в ту же Кишиневскую тюрьму, где сидела Козлова.

Мужской корпус отделялся от женского воротами и калиткой, которая то и дело открывалась, пропуская из конторы людей; за кипятком, обедом, хлебом и проч. И нам, женщинам, в наши прогулки часто удавалось видеть гуляющими «следственную политику» и «крепостников».

Вот так, однажды, раскрылась калитка, и мы поспешили к ней, в том числе и Козлова. Миг, и я увидела безумно скошенное лицо мертвенно бледной Козловой, шептавшей в диком ужасе:

— Он здесь... он здесь...

С этого момента Козлова превратилась в живой труп. На прогулки не выходила. К пище не притрагивалась. К жизни больше не приобщалась. Бродила как тень по камере; писала и рвала написанное. Убедить ее в том, что она не виновата в аресте товарища, не удавалось—все попытки в этом ее сокамерниц оказывались безрезультатными.

В то время я заболела и меня перевели в смежную камеру, называемую «больничной». Ранним утром я была разбужена душу раздирающими криками. Я узнала голоса—это кричали сокамерницы Козловой—политические каторжанки Вакс и Гох. Я вскочила с постели, подбежала к запертой двери и стала стучать что было сил. Дверь вскоре была открыта, и я стремглав бросилась к ним. Гох билась в жестокой истерике, Вакс стояла как каменное изваяние. От них ничего нельзя было добиться. И железным молотом билась в голове мысль: где же Козлова. Обстановка происшествия говорила о чем-то роковом. Испуганные бегали надзирательницы. С каким-то страхом заглядывали в камеру Козловой уголовные арестантки. Вещи Козловой лежали тут же. «Убежала?» подумала я... Мои глаза остановились на одном из окон камеры. В просвете окна ясно вырисовывалось висящее тело. Я поняла в миг все. Сделав петлю из полотенец и прикрепив ее к верхней части решетки—повесилась Козлова. Необходимо было обыскать ее сейчас же—не оставила-ли она посмертной записки? Мы нашли при ней три письма, из них одно к ее друзьям в Кишиневе, другое—адресованное в Москву на имя Козлова и маленькую лаконическую записку: «Так жить нельзя, из-за меня страдают»...

А. САКОВА.

От редакции.

По примеру наших старших товарищей-москвичей, мы отводим в своем сборнике место «синодику нашей революции» и обращаемся ко всем товарищам с просьбой прислать фотографии, воспоминания, биографические сведения о революционерах, погибших на каторге, в ссылке, на воле.

Цирульник Фроим, портной, бундовец, умер в Орловском Централе.

Соколов Николай, с.-р., умер в Смоленском Централе.

Совет Киевского отделения Всероссийск. об-ва бывш. политкаторжан и ссыльно-поселенцев.



1) **Ушерович**—староста; 10) **Гелубков**—зам. старосты; 6) **Мительман**—секр. совета; 2) **Ланде**. 3) **Кофф**. 4) **Славкин**. 7) **Берзин**, 9) **Лагунов**, 12) **Генш**—члены совета; 5) **Козель**—канд.; 8) **Гутман**. 11) **Иващенко**—члены общества (бывшие члены ревиз. комиссии).

(Снимок в сентябре 1923 г.).

Хроника Московского Об-ва б. политкаторжан *).

В данное время Московское об-во об'единяет шесть отделенний: Киев, Петроград, Орел, Харьков, Д.-Восток, Тифлис и четыре группы: Курск, Ростов, Крым, Запорожье. Отделения и группы об'единяют свыше 1000 человек, распределяющихся следующим образом: Москва—500 чел., Киев 60 ч., Петроград—50 ч., Одесса—70 ч., Харьков—80 ч., Д.-Восток—200 ч., Тифлис—100 ч., Курск—10 ч., Крым—17 ч., Запорожье—22 ч., в бижайшее время откроется отделение в Баку, долженствующее охватить весь Азербейджан.

= Издательская деятельность Моск. Об-ва за время с 1921 по 1923 г. выразилась в выпуске 239.150 печатных листов. Готовится к печати: спутник по революционной Москве, письма Сазонова, сочинения Фроленко, Ашенбреннера; литературный альбом „каторга и ссылка" на 9 языках; готовится к изданию Историко-революционный словарь в 1-й том которого войдет материал до конца 80 годов и охватит около 1000 имен.

= К 7-й годовщине освобождения каторги и ссылки (12 марта 1924 г.) приурочен первый всероссийский с'езд представителей отделений и групп по следующей норме представительства: отделения и группы до 10 человек делегируют одного чел. с правом решающего голоса; свыше 10, на каждые 10 чел. одного представителя.

Повестка дня Всероссийского с'езда: 1. Международное положение: 2. Итоги семилетия революция в России; 3. Три поколения Российского организованного революционного движения: народовольцы, массовое рабочее подпольное движение и революция 1917 года; 4. Влияние каторги и ссылки на культуру Сибири; 5. Влияние каторги на психику и волю заключенных; 6. Доклады с мест; 7. Доклад Совета об-ва; 8. Доклад Историко-Издательской Комиссии; 9. Организационные вопросы; 10. Выборы Совета и ревизионной Комиссии.

= Московск. Об-во получило в свое распоряжение Михайловскую группу совхозов с богатым живым и мертвым инвентарем и дворцом б. графа Шереметьева, где оказалась между прочим, ценная библиотека. Указанное хозяйство электрофицируется.

= При Моск. О-ве организованы землячества: Александровское, Нерчинское, охватывающее след. тюрьмы: Зерентуйскую, Акатуйскую, Алгачи, Кутомара, Кадая, Мальцовская и др.

= Моск. Об-во переехало 7 ноября в свой новый дом на Пречистенке, по Лопуховскому переулку д. № 5.

Чествование ветерана „Народной Воли" М. Ю. Ашенбреннера.

Московский совет общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев чествовал 7 января 1924 г. старейшего каторжанина-революционера, члена военной организации партии „Народной Воли" М. Ю. Ашенбреннера.

Совет Киевского отделения О-ва, получивший приглашение на торжество, отправил Московскому обществу следующую телеграмму:

„Совет Киевского отделения бывш. политкаторжан и ссыльно-поселенцев сожалеет, что лично не участвует в торжестве чествования ветерана „Народной Воли" —товарища Ашенбреннера. Совет, горячо приветствуя старейшего каторжанина-революционера, надеется, что мы, молодое поколение, доведем, вместе с идущим с нами тов. Ашенбреннером—дело революции до конца.

Привет тов. Ашенбреннеру!

Привет Московскому обществу б. политкаторжан.

Киевский Совет.

М. Ю. Ашенбреннер был членом военной организации партии: „Народной Воли".

Первая военная группа „Народной Воли" создалась в конце 1880 г. и получила название Центральной, куда вошли: от военных революционных кружков лейтенанты Суханов и Штромберг и от исполнительнаго Комитета Народной Воли—Желябов и Колодкевич. Из выработанного в согласии с программой партии „Народной Воли" „Устава Военного Центрального Кружка" видно, что военный кружок ставил своей целью полное политическое и экономическое освобождение народа.

Дело 1 марта 1881 г., повлекшее за собой и гибель членов Исполнительного Комитета партии „Народной Воли": Желябова, Колодкевича, Суханова, Златопольского—первых руководителей военной организации,—не разрушило организацию, а наоборот, оно получило как-бы новый толчек. Молодые офицеры жаждали продолжения деятельности партии „На-

*) Бюллетень Моск. Об-ва с окт. по январь 1924 г.

родной Воли“ и готовы были поддержать ее всеми средствами, которыми располагали.

Летом 1881 г. члены военного кружка предприняли поездки по России для вербовки новых членов, главным образом из среды либерального офицерства; М. Ю. Ашенбреннер, будучи прикомандирован к 58 Прагскому полку, расположенному в Николаеве, вел там активную пропаганду, вербуя в военные кружки новых членов.

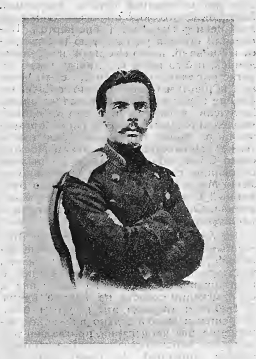
Весною 1882 г. при участии М. Ю. Ашенбреннера и В. Фигнер сорганизовался в Одессе военно-рев. кружок из офицеров 59 Люблинского пехотного полка куда, м. пр. входили: Крайский, Каменский, Телье, Стратанович и др.

По предательству Дегаева был провален весь состав Кронштатского кружка. В конце 1883 г. в Смоленске был арестован М. Ю Ашенбреннер и отправлен в Петропавловскую крепость. Судился по процессу 14-ти (Веры Николаевны Фигнер), одному из известнейших процессов Народовольцев. 24 28 сентября 1884 г. приговорен был к смертной казни, замененной ему бессрочной каторгой.

14 октября 1884 г. М. Ю. Ашенбреннера перевели в Шлиссельбургскую крепость, в которой он провел 21 год.

Был выпущен из этой могилы для живых, волей нашей первой революции в 1905 г.

Приказом Революционного Военного Совета СССР Республик за № 2723 от 21 декабря 1923 г. Вторая Пехотная Московская школа наименована „Школой имени Михаила Юльевича Ашенбреннера.



Михаил Юльевич

АШЕНБРЕННЕР.

С карточки, снятой в 1864 году.



Хроника Киевского отделения Об-ва б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Киевское Отделение Об-ва организовалось по инициативе группы товарищей Всеукраинского бюро об-ва, снесшихся для этой цели с Киевским Губистпартом. Последний об'явил регистрацию находящихся в Киеве б. политкаторжан и сс.-поселенцев, и 6-го июля с. г., когда число зарегистрировавшихся достигло 60-ти человек, истпартом было созвано общее собрание зарегистрировавшихся товарищей. Заслушав доклад т. Шрайбер о работе, проделанной истпартом в целях организации в Киеве Отделения Общества, а также ознакомившись с уставом Московского Об-ва, общее собрание приняло в основание своей будущей деятельности Устав Московского Об-ва и избрало Временный Совет, в составе т.т. Ланде, Ушеровича, Славкина, Иващенко и Гутмана, с кандидатами

На первом же заседании перед Временным Советом встали кардинальные для начала работы вопросы: о приискании квартиры для канцелярии отделения, о приглашении технического работника и об изыскании средств на первое время. В спешном порядке эти вопросы были разрешены: было найдено временное помещение для канцелярии, приглашен технический работник (из среды безработных членов общества). Вр. Совет приступил к перерегистрации товарищей по новой, присланной из Москвы, анкете. В августе отделение впервые выступило пред рабочей массой на вечере воспоминаний, устроенном в помещении Подольского Райпаркома. Вечер, на котором выступили со своими воспоминаниями о политкаторге члены Киевского отделения, прошел с большим под'емом; переполненный зал (свыше 500 человек), состоявший почти исключительно из рабочих, с большим интересом и сочувственным вниманием слушал воспоминания бывших узников царских застенков. Этот вечер повел к устройству целаго ряда бесплатных таких-же вечеров в различных рабочих и красноармейских клубах, которых в течение 4-х месяцев состоялось 15 с общим количеством слушателей до 8,000 человек. На открывшейся в ноябре 1923 г. Выставке Ревдвижения и Компартии, устроенной Истпартом, отделением был оборудован отдельный уголок „Каторги и ссылки"; кроме того, некоторые товарищи принимали участие в работе по собиранию экспонатов и для других отделов выставки.

Отделением оказывалась материальная поддержка больным и нетрудоспособным своим членам. Безработным товарищам оказывалось содействие в приискании труда. Таким образом удалось устроить почти всех безработных членов Об-ва, т. е. из 12 чел., числившихся безработными, 7 определены на постоянную работу, 2 ч. на временную и три чел. еще безработных. 18 августа состоялось 2-ое общее собрание членов Общества. Был заслушан отчет о деятельности Вр. Совета и избрание постоянного Совета, куда вошли т.т. Кофф, Ушерович, Ланде, Лагунов, Берзин. Генш, Славкин, Голубков, Козель с кандидатами: Таратута, Шрейбер, Островский, Мительман и Радиловский; в ревизионную комиссию—т.т. Гольдин Гутман и Иващенко; историко-литературную секцию—т.т. Берман, Дриккер, Лагунов, Кофф.

Старостой Киев Отделения был избран т. Кофф. В целях пополнения своей кассы был устроен концерт в Пролетарском саду, который прошел довольно удачно, и дал чистой прибыли свыше 50,000 руб.

В средних числах октября Совет на своем заседании решил приступить к изданию сборника „Каторга и Ссылка" и для осуществления этой цели избрал редакционную комиссию в составе т.т. Ушеровича, Коффа, Лагунова и Бермана. Кроме того, Киевское отделение внесло на нужды „Мопра" часть своих средств и делегировало своих двух членов Совета в Правление Мопра.

Советом, за время своего существования (6 месяцев) оказана помощь 21 товарищу возвратной ссуды в размере 41 червонца и безвозвратной ссуды остро-нуждающимся, больным и безработным своим шести членам—15 червонцев; кроме того. Совет снабдил 12 товарищей дровами, по 50 пуд. каждому, с доставкой на дом—бесплатно.

Киевскому отделению также удалось договориться с отделом здравоохранения и рабмедициной—об оказании больным и безработным чл. Об-ва безплатной мед. помощи.

25 декабря 1923 года состоялось третье общегородское собрание Киевского отд., на котором был заслушан подробный доклад т. Ушеровича о деятельности совета. По докладу принята резолюция, одобряющая деятельность совета в целом. Вместо отказавшегося (по болезни) от звания старосты т. Коффа был избран старостой т. Ушерович. В ревизком вошли: т.т. Капшицер, Островский и Берман

Совет предложил общему собранию в срочном порядке представить свои воспоминания о революционной деятельности, каковые будут отправлены в Москву как материал для биографического словаря.

Предприняты шаги к оборудованию клуба, читальни, выставки по истории каторги и ссылки.

СПИСОК ЧЛЕНОВ КИЕВСК. ОТД. О-ВА БЫВШ. ПОЛИТКАТОРЖАН.

№№ по пор.	Фамилия, имя и отчество.	Адрес:
1	Айзенберг Х. Г	Кузнечная 10, кв. 24.
2	Агроскина М. Г.	Андреевский спуск.
3	Берман Л. Л.	Жилянская 86, кв. 3,
4	Берзин К. П.	Лютеранская 33, кв. 4.
5	Брагинский Л. Л.	Предславинская 4, кв. 2.
6	Богатникова (Финкельштейн).	Никольско-Ботаническая 4, кв. 2.
7	Бурляй Е. М.	Рейтерская 3.
8	Брагинский И. Г.	Брест-Литовское шоссе 15, кв. 6.
9	Блиман М. М.	Пушкинская 19, кв. 12.
10	Бодров А. П.	Кузнечная 39, кв. 11.
11	Волконский А. В.	Михайловский пер. 10, кв. 5.
12	Гутман П. М.	Ул. Пятакова 2, кв. 4.
13	Гордиенко К. С.	Екатеринослав
14	Голубков М. И.	Пушкинская 32, кв 5.
15	Генш М. Г.	Сельбудинок
16	Гольдберг С. Я.	Мало-Житомирская 30, кв. 24.
17	Дриккер Н. В.	Михайловская 24, кв. 28,
18	Дубровский Я. Я.	Пушкинская 6, кв. 19.
19	Ичковский Е. И.	1-й Дом Советов.
20	Иващенко Я. П.	Нестеровская 5, кв. 4.
21	Игошин М. Г.	Фундуклеевская 74, кв. 12,
22	Корохан С. А.	Харьков
23	Капшицер А. Н.	Левашовская 30, кв. 9.
24	Кацура К. Д.	Ул. Короленко 46, кв.
25	Кофф Г. М.	Ул. Пятакова 34, кв. 10.
26	Козель М. Л.	Радомысль, Госсуконфабрика
27	Купченко О. Ф.	Троицкий пер. 4, кв. 8.
28	Карнач А. П.	Лютеранская 6, кв. 11.
29	Лагунов Б. И.	Пушкинская 21, кв. 10.
30	Ланде И. Ю.	Меринговская 10.
31	Ловцкий М. Г.	Дорогожицкая 27, кв. 2.
32	Мразовский А. Ф.	М. Борисполь.
33	Моспан С. Е.	Нестеровская 17, кв. 9.
34	Мякота И. А.	Белая Церковь.
35	Миттельман М. С.	Тарасовская 9, кв. 29.
36	Никитчук А. С.	Кузнечная 83, кв. 5.
37	Николаев А. Н.	Николаевская пл. 4, кв.
38	Островский К. Э.	Александровская 45, кв. 28.
39	Петренко М. С.	Харьков.
40	Поляк С А.	Бибиковский бульвар 5, кв. 43.
41	Пивоваров П. Ю.	Ул. Гершуни 45, кв. 33.
42	Родиловский Л. И.	Андреевский спуск 34, кв. 12.
43	Скульский А. Н.	
44	Сакова А. М.	Ул. Короленко 33. кв. 10.
45	Славкин И. А.	Пушкинская 35, кв. 9.
46	Семени П. А.	Кузнечная 120, кв. 13.
47	Сливинский С. В.	Караваевская 33, кв. 10.
48	Таратута О. Н.	Александровская 45, кв. 28.
49	Тарабан П. Н.	гор Кролевец, Черниговской губ.
50	Темкин	Подольский райпарком.
51	Ушерович С. С.	Б. Владимирская 33.
52	Ушацкая П. М.	1-й Дом Советов.
53	Ушацкий И. И.	1-й Дом Советов.
54	Цукров С. С.	Нижний Вал 12, кв. 6.
55	Шульженко М. Ф.	Ул. Короленко 22,
56	Шульженко Н. А.	Ул. Короленко 22.
57	Шрейбер С. Д.	Б. Васильковская 21, кв. 11.
58	Шейнис И. Х.	Москва.

Анкетные сведения о составе членов Киевского Об-ва бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

1. Членов Киевскаго Об-ва 56

Каторжан	48
Ссыльно-поселенцев	8

2. Начало революционной деятельности:

1880—1889	1
1890—1899	2
1900—1904	25
1905—1906	19
1907—1909	5
1910—1915	4

3. Партийная принадлежность до 1917 года.

Анархистов	16
Эс-эров	13
Эс-деков (меньш.)	7
Эс-деков (больш.)	6
Бунда	2
Максималистов	2
Украинск. с.-д.	1
П. П. С.	1
С.-д. Польши и Литвы	1
С.-д. Латышск.	1
Народовольцев	2
Нет сведений	4

4. Партийность в настоящее время.

Чл. Р. К. П. и К. П. (Б.) У.	18
Беспартийных	26
Анархистов	5
П. П. С.	1
Большевики внепарт.	2
Нет сведений	4

5. Перемена убеждений и переход в другие партии.

а) перешло в коммунистическую партию:

Анархистов	4
Эс-деков	3
Эс-эров	3
Бунда	1

б) вне партий:

Эс-эров	9
Анархистов	7
Меньшивиков	6
Максималистов	2
Большевиков	2
Народовольцев	2
Бунд	1

6. Место судимости:

Киев	18
Одесса	8
Польша	4
Екатеринослав	4
Петроград	3
Москва	2
Дальний Восток	5
Сибирь	3
Севастополь	2
Донская обл.	1
Харьков	1
Рига	1
Тифлис	1
Кишинев	1
Нет сведений	2

7. Характер судимости:

За принадлежность к революционным организациям по 102 ст.	31
„ 126 ст.	4
За террор. экспроприацию, вооруж. сопротивл., захват типографий и лабораторий	13
За восстания	5
Участие в Якутской трагедии	1
Литерат. дела	2

8. Вынесено приговоров:

Смертная казнь	12
Бессрочная каторга	3
Каторга 20 лет	1
„ 17 „	1
„ 15 „	2
„ 10 „	4
„ 8 „	1
„ 6 „	4
„ 5 „	3
„ 4 года	13
„ 2 г. 8 мес.	1
Не указано	3
Поселение	8

9. Отбыли каторгу:

15 лет	1
12 „	1
11 „	4
10 „	9
9 „	8
8 „	4
7 „	4
6 „	5
5 „	4
4 года	6
3 „	1
2 „	4
1 и 1½ года	3
Неизвестно	2

10. Каторгу отбывали в тюрьмах:

В Москве	2
Смоленске	6
Орле	1
Ярославле	2
Владимире	2
Вологде	1
Шлиссельбурге	3
Риге	4
Николаеве	4
Херсоне	4
Александровске	9
Мальцовской	1
Акатуе	2
Алгачах	1
Нерчинске	1
Неуказано	3

11. Социальное положение до каторги:

Рабочих	24
Интеллигентов	23
Промежуточн. гр.	9

12. По профессиям:

Слесарей	3
Печатников	5
Портных	2
Токарей	2
Машинистов	1
Часовщиков	1
Колбасников	1
Ткачей	1
Кожевников	5
Бумажников	1
Чернорабочих	2
Хлебопашцев	1
Приказчиков	4
Булочников	1
Учителей	4
Бухгалтеров счетовод.	7
Журналистов	1
Инженеров	1
Агрономов	1
Ботаников	1
Учащихся	1
Не указано	10

13. Образовательный ценз к моменту ареста:

Высшее образование	2
Среднее	15
Не оконч. средн.	6
Экстерн	3
Самоучки	3
Домашнее обр.	17
Начальное	8
Неизвестно	2

14. Годы судимости:

1889 г.	1
1901 „	1
1905 „	1
1906 „	8
1907 „	13
1908 „	14
1909 „	8
1910 „	4
1911 „	2
1913 „	3
1915 „	1

15. Годы каторги и ссылки

49 человек отбыли—302 г. и 10 м. каторги; из них: 26 ч. отбыли 113 лет на поселение после каторги. 8 чел. пробыли на поселение без каторги—48 лет.

Всего 463 года и 10 мес.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ФАРФОР—ОВАЯ ПОСУДА СТОЛОВАЯ И ЧАЙНЫЕ СЕРВИЗЫ
ФАЯНС
СТЕКЛО—СОРТОВОЕ И ЛАМПОВОЕ

Предлагает ТРЕСТ **ФАРФОР-ФАЯНС-СТЕКЛО**

ПРАВЛЕНИЕ: Киев, Крещатик 22.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

ПРАВЛЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ОДЕССКОГО ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА сообщает о происшедшей некоторой реорганизации его структуры: 1) С I/XI ликвидирована Коммерческая часть (КО) в Одессе и все функции ее перешли к Коммерческому отделу (ЧК) в Киеве. 2) С I/XII сего года расформированы Отделы Статистики и Картографии обоих Управлений (СК ОЛО и СК Юза) с передачей их работы преобразованному Отделу Статистики и Картографии Правления (ЧСК).

Всероссийская Центральная Государственная СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА „ГОСТРОЙ"

Полномочное Представит-во на Правобережьи

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕВОЗМОЖН. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, а также составляет сметы, чертежи и технич. отчетность.

Киев, ул. Энгельса № 1. Тел. 7-87

Полноч. Предст. М. Б. Луфер

ОГОЛОШЕННЯ.

Правобережне Бюро Всеукраїнської Центральної Комісії по націоналізації земель при НАРКОМЗЕМІ сформувало на **Київщині**—10, **Волині**—6, **Поділлі**—9 і на **Чернигівщині**—1 Райкомісію, які працюють по визначенню та відмежуванню державного лісного фонду, а тому прин тні особи та установи, які зацікавлені одводом землі по Держфонду, повинні в першу чергу звертатись з своїми домаганнями або иншими питаннями до відповідних Райкомісій.

Всі протести на постанови Райкомісії з заключенням останніх надсилаються до Правбюро (**Київ, Прорізна 16**).

Правбюро розглядає справи, виносить свої постанови й надсилає їх до ВЦК (Харьків, Наркомзем) на остаточне затвердження. Заст. Голови Правбюро **И. Крупський**.

Киевская Районная К-ра

Укрвнешгосторга

Киев, Крещатик, 30

Телефоны:

Зав. конторой 33-44
Коммерческий 19-69
Агент-загот. 23-85
Общий 31-12

„МОССЕЛЬПРОМ" МОСКОВСКОЕ Об'единение предприятий по переработке продуктов сельско-хозяйствен. промышленности

МОСКВА, Тверская 15.

Производство и продажа кондитерских, табачных и пищевых изделий Госфабрик бывш. **„Эйнем", „Абрикосова", „Дукат", „Ява", „Красная Звезда"** и т. д.

„МОССЕЛЬПРОМ". Украинское представительство Киев, ул. Воровского [б. Крещатик] 8 б, кв. 4. Телеф. 15—61.

Заготовка зерновых и пищевых продуктов для производственных предприятий Моссельпрома и продажа своих изделий.

„ПОЛЕСТОРГ"

Киевское Отделение Полесского Акционерного Общества (б. Гомторг) производит продажу товаров производства Полесских Трестов, состоящих его пайщиками: **Гомельский ГСНХ, Клинцовский Текстильтрест, Гомлес, Полспичтрест, Полбумтрест, Полспирттрест.**

Киев, ул. Воровского (б. Крещ.) 8-б кв. 6.

Телегр. адрес „Полесторг", телеф.: 27-81, 16-43.

„Укртекстильтрест" Льно-Пенько-Джутовое — производство. —

ВЫРАБАТЫВАЕТ и ПРОДАЕТ: Мешки провиантские, сахарные и проч. **Ремни верблюжьи, Пассы пеньковые, Канаты** пеньковые, бельные и смольные, **Троссы, Шпагат, Веревки** и проч. пеньковые изделия.

Киевское Представительство: ул. Энгельса [бывш. Лютеранская] № 5, кв. 4. Телефон № 11—25.

К сведению государственных и кооперативных предприятий и смешанных обществ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
КИЕВСКОГО ГУБФИНОТДЕЛА

12 января 1924 года.

Согласно положения от 20 июня 1923 года и Инструкции о его применении, распубликованных в „Вестнике Финансов" № 96 от 6/хп 1923 г., ПРАВЛЕНИЯ и заменяющие их ЕДИНОЛИЧНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ всех государственных трестов, комбинатов, синдикатов и нетрестированных госуд. предприятий, эксплоатируемых на основании хозяйственного расчета, всех кооперативных организаций и смешанных обществ, обязаны представить ПОЛНЫЕ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ и БАЛАНСЫ за окончившийся после 26 июня 1923 года операционный год. Председателям соответствующих Налоговых Комиссий в течение ТРЕХ МЕСЯЦЕВ со дня окончания операционного года и в тот же срок внести в кассу НКФ причитающийся подоходный налог.

На основании изложенного Киевский ГФО приглашает все находящиеся на территории гор. Киева и Киевской губ. правления вышепоименованных предприятий и обществ, а также заменяющих их единоличных администраторов представить в установленный срок отчеты и балансы в Киевский Губфинотдел (IV-е Отделение—комн. № 9)—по государственным предприятиям, смешанным обществам, центральным и губернским союзам кооперативов и участковым Финансовым Инспекторам—по первичным кооперативам и внести в тот же срок в кассы Киевского ГФО подоходный налог (§§ 5—8 Инструкции).

Отчеты и балансы должны быть составлены по общим формам, установленным СТО, и представлены в Налоговые Комиссии в ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ с следующими приложениями:

а) Устав или Положение предприятия.

б) РАСЧЕТ причитающегося с организации подоходного налога, составленный Правлением по ф. № 2, приложенной к Инстр. („Вестник Финансов" № 96).

в) Квитанция (или заверенная нотариальная копия с нее) местной кассы НКФ об уплате причитающейся по расчету Правления суммы подоходного налога и сверх того Правления кооперативных организаций, смешанных обществ и товариществ обязаны представить копии протоколов общих собраний членов или пайщиков об утверждении указанного отчета.

Приложения, которые не могут быть представлены по каким-либо причинам вместе с отчетом, должны быть доставлены дополнительно.

Правления предприятий, по коим ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ срок для представления отчетов уже истек или до истечения его остается менее месяца, должны представить отчетный баланс с вышеупомянутыми приложениями и уплатить подоходный налог не позже месяца со дня настоящего об'явления.

При взносе налога после срока—организации обязаны одновременно внести в кассу Киевского ГФО также пеню в размере $^1/_2\%$ с общей суммы налога за каждый просроченный день, не исключая и праздников.

За непредставление полных годовых отчетов и балансов с необходимыми к ним приложениями и расчетом налога виновные в том лица подлежат штрафу в размере до 300 руб. золотом.

Подробные указания о порядке составления отчета и расчета причитающегося подоходного налога, а равно формы см. в „Вестнике Финансов" № 96.

Зам. Завгубфинотделом **Вальтер.**

Зам. Упр. Отдела Прям. Нал. **Селиванов.**

Р. У. Н. № 79 Киев, 1924. Зак. № 269—2500. Гос. Трест „Киев-Печать", 2-я тип.


ОБЩЕСТВО
БЫВШ. ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ КАТОР-
ЖАН И СС. ПО-
СЕЛЕНЦЕВ
СОВЕТ
КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

